

АЛЕСЬ САВИЦКИЙ



ВСПАХАННОЕ ПОЛЕ

РОМАН

1

Приказ командира отрядной разведки был краток и ясен: разведчик Олег Сверин направляется на два дня в хозяйственный взвод.

Но в этой ясности, в самой сути приказа было столько обидного, что Олег оторопел, ему показалось, будто он чего-то недослышал, что-то недопонял.

— В распоряжение Гонты? — Несправедливость обожгла, Олег захлебнулся обидой, некоторое время стоял с открытым ртом и растерянно моргал, словно глаза запорошило пылью, потом подался вперед, будто намереваясь получше разглядеть Лысюка, и возмущенно выпалил: — Меня?!

— Тебя, мой друг, тебя, — подчеркнуто дружелюбно подтвердил Лысюк.

Это был приказ, а уж Олег-то знал, что его надо не обсуждать, а выполнять. Но обида жгла, и он все с той же растерянностью, как бы убеждая в первую очередь самого себя, упрямо проговорил:

— Не имеете права! Не имеете!..

Лысюк опять несколько не смутился, согласно кивнул:

— Может, не имею. А может, и имею.

— Я — разведчик! — с горечью напомнил Олег.

— Если ты настоящий разведчик, то должен не горячку пороть, а сперва выяснить — куда послан, с кем, с какой целью. И, уяснив все это, приказ выполнить. Приказ ты понял?

САВИЦКИЙ Александр Онуфриевич (Алесь Савицкий) родился в 1924 году в Полоцке. Ветеран Великой Отечественной войны, командир подрывной группы партизанского отряда "Большевик" и участник взятия Берлина. Известный белорусский писатель, лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Живёт в Минске.

— Сами же объяснили: картошку сажать. Разве не так?

— Так-то оно так... — протянул Лысюк. По его лицу блуждала сочувственная улыбка, он словно просил Олега помолчать и больше не перечить. Он прислушивался к отзвукам фронтовой канонады, которые были сейчас очень явственны. Еще вчера гремело далеко за Двиной, а сегодня нестихающие рокочущие волны выкатывались уже из леса, что был на той стороне реки.

— Гремит... — заметил Лысюк все тем же домашним и радостным голосом, точно все время о канонаде и шел у него разговор с Олегом. — Даже зяблики притихли, слушают, как наши дают фашисту прикурить. И мы подбросим ему огоньку.

Олег вновь, с прежней обидой, возмущился:

— Наши дают фрицам прикурить, отряд тоже пойдет их колошматить, а я — сажать картошку с дядьками?..

— А кто ж ее посадит? — удивился Лысюк: — Фашисты хаты пожгли, коней позабирали. Народ на нас, партизан, надеется. Правильно надеется?

Этот поворот был столь неожидан, что Олег невольно промямлил:

— Правильно.

— Чего тогда давишь на меня? — спросил Лысюк со смешком.

— Я не давлен. Я только заявляю: снять меня с ответственного задания не имеете права!

— Давай... заявитель... он имеет право... — проговорил Лысюк, с равными интервалами постукивая трофейной сигаретой по пачке, которую вытаскивал из кармана френча — мышинного цвета, тоже немецкого. — Что-то в последнее время, под конец войны, у всех права большие нашлись. Рас толкуй, пожалуйста, с чего бы это? А я покурю да послушаю.

Лысюк снял френч, бросил его на игольчатые листья багульника и сел, прислонясь спиной к сосне. Лицо его смягчилось еще больше, казалось, он напрочь отмежевался от всех этих треволнений; потом Лысюк молча показал рукою на старую осину, что росла внизу, на краю болотца.

Дерево как дерево, не интереснее других, разве что дряхлое. Ясно, для чего это делается! Выпроводил человека в хозяйственный взвод и доволен, будто гора с плеч! И на старую осину глядит с нарочитым вниманием, чтоб от него, Олега, поскорее отвязаться. Впрочем, нет: сизоворонку Лысюк заметил на осиновой кривульке. Странный какой сучок: словно сломан, а падать не хочет, торчит в сторону от всех, навис над молодой сосенкой. Сизоворонка пригелась на солнце, покачивается вместе с веткой, будто привязана к ней.

Олег почувствовал внезапно стыд. Что ни говори, перегнул палку: он, всегда исполнительный, затеял спор с командиром! И удивительно не только это: всему отряду известно, что Лысюк возражений не любит, споров не терпит, теперь же не только выслушал, но и вроде бы предлагает продолжать.

— Может, я не то сказал... — проговорил Олег виновато. — Просто мне очень обидно: два года в разведке...

— Один, — уточнил Лысюк.

— Два! Что вы говорите? Два года я в разведке!

Лысюк весело рассмеялся:

— Хоть кол на голове теши — свое долдонит. Один сивограк*, говорю, а он года свои считает. Боишься, что себе их кто-нибудь заберет?

— Я этого не боюсь. Но хочу, чтоб все было по справедливости...

— По справедливости и есть, — сказал Лысюк, и Олег уже подумал, что нелепый приказ будет отменен. Но Лысюк думал о прежнем: — И вчера здесь сидел, и сегодня — как печалится. И все один-одинешенек. Наверно, без гнезда, без подруги. Сейчас снимется...

Но сизоворонка оставалась недвижимой, никуда не собиралась лететь, даже ветка под ней перестала качаться, и казалась неживой — будто привязали к красивой осиновой кривульке раскрашенную игрушку. Но вот птица шелохнулась, и яркие солнечные блески покатались от клюва по толстенькой шейке и вспыхнули, словно взорвались, на крыльях.

* Сизоворонка (бел.).

— Видать, второго фашист подбил. Помните, как они в Петровцах всех голубей постреляли?

— Сперва людей они постреляли, голубей в другой раз. И по тебе, как по тому голубю, палили...

— Но не попали. Живой вот!

— Твоя звезда счастливая...

Голос командира звучал по обыкновению тепло и располагающе, он не упрекнул за промашку под Петровцами, и это тронуло Олега:

— А меня в школе сивограком дразнили. Прилепили вот прозвище...

— Почему ж именно его прилепили?

— В седьмом классе писали сочинение. Перед войной... Рассказать?

— Давай.

— Учительница, помню, сказала: “Пишем сочинение о том, как прошел у каждого из вас первый весенний день, о том интересном, что в нем случилось. Можно просто сделать зарисовку весенней природы...”

Проговорив это, Олег явственно увидел себя в том дне.

...Последнее предложение было ему по душе, и он смело вывел в тетради: “Весенний день”. Потом сообщил, что весной зеленеет травка, распускаются сады, светит яркое солнышко и очень хорошо на лугу возле речки. О чем писать дальше — не знал.

Перевернув страницу, он посмотрел в окно и от волнения сжал зубами кончик тонкой деревянной ручки: на старом клене в углу школьного двора увидел зелено-голубую, с коричневатой спинкой сизоворонку! Ведет только себя как-то чудно, почему-то ей не сидится на месте, то и дело вспархивает подле черного пятна, что прямо над веткою, вытягивает шею, будто собирается долбить само дерево... Э, да там же дупло! Вот и вторая сизоворонка появилась, она выскочила из него, а первая тотчас нырнула. А он, Олег, никакого дупла не видел, когда еще прошлым летом забирался на дерево. Либо вовсе не было, либо просто не заметил его... А теперь обе улетели, наверно, кормиться, лишь дупло на дереве темнеет...

Время от времени поглядывая в окно, Олег писал о том, какой красивый клен растет на школьном дворе, о том, что есть на этом дереве дупло, которого никто не замечает. А сизоворонки вот заметили, обжили. И рады небось своему уютному жилью — и в жару не жарко, и в дождь не зальет, и ветер не достанет.

Писалось легко, слова будто сами просились на бумагу. Уже готовы целые четыре страницы! А сизоворонка опять сидит себе на ветке, зеленые и голубые перышки чистит. А на спинке они у нее коричневатые, как подпаленные. И, сдается, смотрит она сюда, на окна класса, будто чувствует, что он, Олег, пишет о ней сочинение...

— Что ты, Сверин, нашел интересного за окном?

Олег вздрогнул от неожиданности, недоуменно посмотрел на учительницу, которая стояла у его парты, выдохнул радостно, точно сделал важное открытие:

— Сивограка!..

В классе дружно засмеялись. Улыбнулась и Валентина Федоровна, но сдержанно, краешком губ. Взяла Олегову тетрадку, удивилась:

— Это ты сейчас успел написать?

— Ну... Я о сивограке пишу, он на нашем клене живет. У них там, наверно, гнездо в дупле.

— Ты наблюдателен. Это хорошо.

Учительница взялась было читать сочинение, но тут прозвенел звонок, и Олегова тетрадь оказалась в общей стопке. Урок белорусской литературы был последний — и сразу же поднялся гадеж, все высыпали из школы.

— Эй, сивограк! — крикнули Олегу, когда он выбежал на крыльцо. — Мы — в лес! За сморчками. Пойдешь с нами?

Олег замер — уже прилепили прозвище! И кто — Витька Кирчик, лучший друг. Еще и смеется!

— Не пойду, — мотнул головой Олег и тут же решил, что он и в самом деле не пойдет, хотя в лес хотелось. — И если я сивограк, то ты ворона!

— Э-э-э! Да он обиделся!

— Было бы из-за чего! Но в лес не пойду. Тата сказал, что сегодня бульбу будем сажать.

— Управятся и без тебя, — сказал Витя. — Айда! Или ты действительно не хочешь?..

Ребятчья ватага, галдя, устремила к лесу, а он стоял на крыльце и смотрел вслед. Ах, как же ему хотелось пойти вместе со всеми! Ну из-за чего обиделся? Прозвище дали? Невидаль какая! Надо было свести все к шутке, самому пошутить. И пойти в лес с ребятами. Хотя нет, в лес нельзя: отец и в самом деле сказал накануне, что надо сажать картошку, и напомнил сегодня утром, чтоб не задерживался после школы, сразу же мчал домой. Правда, не так уж и много той работы в огороде, но надо же быть мужчиной: сказал, что не пойдет, значит, не пойдет. А сморчки пусть подрастут, за ними можно и завтра сбегать. И Витя без него, Олега, не ахти какой грибник: становится в лесу как сумасшедший — глупеет, аукает... Грибы же надо собирать спокойно, без шума и суеты. Так что завтра можно будет сбегать в лес. И до завтра это глупое прозвище вылетит, возможно, из Витькиной головы...

Назавтра он действительно пошел с ребятами за сморчками, и вернулись они с полными корзинами. Но перед этим — в классе — произошло вот что. Учительница принесла сочинения и, заметив взволнованная, первым делом раскрыла Олегову тетрадь.

— Сверин меня удивил. Очень приятно удивил и обрадовал, — сказала она. — Самое лучшее сочинение — у него. Хороших сочинений на сей раз много, но лучшее написал именно он. Я вам сейчас прочту...

Все слушали внимательно, Олег и сам слушал со вниманием, он удивлялся, что и впрямь написал очень хорошо. Он глядел в окно на знакомую ветку клена, и ему казалось, что учительница не читает его тетрадь, а пересказывает быль о сизоворонках, которые вернулись из теплых краев на родину, нашли свое старое уютное жилье на клене...

— Значит, сивограк, — думая о своем, сказал Лысюк. — А этот, видать, без гнезда, — повторил он и внезапно насмешливо спросил: — Ты чего молчишь? Я уже сигару высмолил, а объяснений твоих все не слышу. Ты же мне права мои хотел растолковать. Или как?

Олег еще жил воспоминаниями о школе. Но он сразу уловил иронию в словах Лысюка, набылчился:

— Я хотел и хочу только одного: пойти вместе с вами...

Лысюк бросил окурок под ноги, старательно присыпал его песком, вздохнул, не тая искренней горечи:

— Не глупый же хлопец, а главного не понимаешь. И девять классов вроде за плечами. Ведь девять, а?

— Откуда? — Олег недоуменно посмотрел на Лысюка. — Я только семь успел окончить.

— Значит, если б не война, был бы уже в десятом? Или как?

— Да, в десятом, — растерянно согласился Олег.

— Война, друже, она всем жизнь поломала. Но и мы ей под самый дых дали. И пойдешь ты нынче летом в свой десятый... Я не путаю, не делай круглых глаз — войну я тебе за два класса засчитываю. И они обязаны засчитать. Или ты не согласен?

Этот неожиданный, без тени насмешки вопрос окончательно сбил Олега с панталыку. Он думал, что Лысюка рассердят его возражения, что тот поставит его по стойке "смирно", прикажет прекратить разговорчики и немедленно отправляться в хозяйственный взвод. Когда Лысюк злится — с ним еще можно спорить. Но сейчас?.. Участливый вопрос о школе... Да нет, все подстроено нарочно, все делается для того, чтоб подчеркнуть, что ты, дескать, пацан, тебе о тетрадках думать надо... Но ведь это несправедливо! Ведь фронт уже рядом! Может, бой за Двиною, к которому готовится отряд, будет последние партизанским боем, может, там, за Двиною, они встретятся с наступающей армией, а ему поручают второстепенное, зряшное дело, не доверяют главного! И кто не доверяет! Лысюк! Тот самый Лысюк, который не однажды говорил, что его Олег и стреляет по-снайперски, и разведчик

прирожденный — словом, грамотный, толковый солдат. И теперь этот Лысюк, в этот долгожданный момент отсылает “прирожденного” разведчика в хоззвод на пустячную работу, отсылает к хмурому, всегда чем-то недовольному копухе Гонте!

Олег проговорил сдержанно, понимая, что только сдержанностью он и может чего-либо добиться:

— Сейчас бы лучше не классы мои подчитывать, а вспомнить, как я воевал. Что, разве плох мой боевой путь?

— Твой боевой путь хорош. И даже очень, — согласился Лысюк, как бы подлаживаясь под Олегов тон, и поднялся.

— Зачем же вы тогда спрашиваете меня на бульбу? — не выдержав, воскликнул Олег. — Я тоже хочу за Двину, хочу быть вместе со всеми...

— А я — драников!

— Что? — изумился Олег.

— А то, что слышал: драников мне хочется.

— Каких еще драников?

— Обыкновенных. Из тертой картошки. Со сметанкою. А можно и со шкваркой. Да с луком. С золотистым, поджаренным лучком. Эх, объединь! — Лысюк похлопал Олега по плечу, спросил добродушно: — А как же их, эти драники, без бульбы изжаришь? Из пшика?.. — И он, как бы подытоживая, заключил: — Так что обижаться нечего: шпарь, друже, в хозяйственный.

Твердости в его голосе, впрочем, не было, скорее это была просьба, а не приказ, и Олег подумал было, что еще не все потеряно. Но тут из штабной землянки появился Гонта, крикнул Лысюку:

— Петро! Командир отряда кличет!

— Бегу, бегу... Так что настраивайся на драники, — весело посоветовал Лысюк Олегу. — Хорошо? — И поправил черный немецкий ремень, на котором тускло блеснула дюралевая пряжка с отметиной от пули. — Надеюсь, стахановской работой покажешь хозяйственникам пример. Чтoб знали: разведка работает!..

И только сейчас до Олега дошло: спорить, что-либо доказывать нет никакого смысла. И остается одно: топать в хоззвод. Но до чего же не хочется! А что, если вызов Лысюка к командиру что-то переиначит? А что, если Лысюк сейчас вернется и отменит свой же приказ, и он, Олег, вместе со всеми пойдет на правый берег реки? Может это случиться? Может, вполне. Ведь там, за Двиною, он каждую тропку знает, каждый ручеек, каждую кочку... Ведь он всегда, когда доводилось идти с боевыми группами к гравийке или железке, выводил их и верно, и в срок... А в самом конце зимы, когда группа Чепика взорвала мост, разве не он спас хлопцев от беды?

Олегу вспомнилось, как на том берегу Двины, в ту теплую предвесеннюю ночь они попали в густой туман. Туман полз из зарослей кустарника, плотного, как стена, и черным казалось все: и небо, и лозняки, и снег, даже сам туман. И потерялась тропа, по которой день назад шли на железку. Но Олег нашел ее, нашел по старым следам в раскишем снегу — следы расплзлись, сделались широченными, совсем неприметными.

Олег, разглядывая те следы, приостановился. Глуховатым, будто севшим из-за тумана голосом Лысюк спросил:

— Ты чего?

— Следы вот отыскал. Наши следы.

— Ну и хорошо. Значит, не заблудились.

— Когда следы были четкие, как бы немцы их не обнаружили...

— Думаешь, засаду устроили? Вряд ли, не ползут они в эти лозняки.

— А зачем сюда лезть? Там, дальше — горушка. С нее все эти лозняки как иглоу прошьешь.

Чепик, командир подрывной группы, негромко засмеялся:

— Ох, и парни, Петро, у тебя! В ночи, как совы, видят. Насквозь и даже глубже!

— Каждая моя сова двух твоих орлов стоит, — недовольно буркнул Лысюк. И повернулся к Олегу: — Как пойдём?

— На Долгое поле, там низина. Небольшая, правда, но отходить по ней, если влипнем, все же удобнее.

Чепик возмутился:

— Без малого семь километров лишних!..

— Там и пойдем, — хмуро перебил его Лысюк. — Командуй своим...

Повернули вправо, в глубокую лощину у реки. Под дубами вспугнули ве-прей. Звери понеслись лозьяками в сторону горушки, о которой говорил Олег и за которой начинался лес. И тогда в той стороне взлетела ракета, за ней вторая, третья, часто заработали пулеметы, разрывая полог ночи разноцветными нитями трассирующих пуль. Пули рвались где-то наверху, с нудным визгом рикошетили от мерзлого суглинка. Но партизаны были недосягаемы.

Чепик смеялся:

— Ну, Петро, продешевил ты трошки — десятерых орлов каждая твоя сова стоит! — И уже серьезно, без тени шутовства: — Перерос твой Сверин разведку. Надо бы ему к нам, в подрывники...

— С ним и договаривайся.

— А чего тут договариваться? Подрывник — должность самая почетная. — И повернувшись к Олегу: — Зачислим тебя в подрывники. Пойдешь?

— Нет, не пойду.

— Это ж почему?

— Разведчик — тот же самый подрывник, только высшего пилотажа.

— Слыхал? — усмехнулся Лысюк.

И как только мог этот самый Лысюк столь бесцеремонно обижать человека, которым совсем недавно гордился? Но вот же обидел, ничего не принял во внимание. К командиру отряда, может, обратиться?..

Лысюк выскочил из командирской землянки с лицом недовольным и озабоченным.

— Что ты тут потерял? — напустился он на Олега.

— Вас жду.

— Настырный же ты, братец!

Лысюк потрогал простудную болячку на нижней губе, — она была похожа на шляпку маленького сухого гриба, — его короткий, будто наискось срезанный нос смешно округлился. В этих неожиданных сменах выражения лица, в недобро суженных синих глазах Олег прочел приговор, с которым так не хотелось мириться.

— Разрешите пойти с вами, товарищ командир, — попросил он тихо. — Разрешите, а?

— Я же сказал: в распоряжение Гонты. Или не понятно?

— Есть идти в распоряжение Гонты... — упавшим голосом повторил Олег.

2

Олег искоса поглядывал на Гонту, который с безразличным видом сидел на передке телеги. В лесу Гонта был говорлив, шутил все время, а здесь, в поле, ушел в себя, сидит недвижно, подсунув вожжи под мешок с семенной картошкой. Вот встрепенулся, полез в карман, достал какой-то засаленный блокнот. Краем глаза Олег увидел исписанные странички, увидел, как Гонта то изгибает губы подковою, то складывает трубочкой, словно хочет засвистеть. Телегу подбрасывало на выбоинах, и от каждого толчка его длинные каштановые усы, смахивающие на проржавевшие клещи, вздрагивали, опадали вниз. Зеленая армейская фуражка то и дело сползала, почти закрывая брови обломанным, выщербленным посередине козырьком, потом прыгала вверх, открывая весь лоб, темный от загара, и белую, у самых волос, узкую полосу.

— Словно вчера все это было... Словно вчера! — тихим и радостным голосом, точно размышляя вслух, проговорил Гонта и, торжествуя, посмотрел на Олега, постукал пальцем по блокноту, провел по усам, и они рыжими стрелками приподнялись над губой. — Ты только глянь, что в этой моей поминальнице!..

Он поднес к Олегову лицу блокнот, развернув в том месте, где к страничке была приклеена вырезка из газеты, и Олег понял, что отмолчаться не удастся.

— Из какой-то газеты, — промолвил он неуверенно.

— Из какой-то!.. — фыркнул Гонта. — Историческая, брат ты мой, газета! — И торжественно прочитал: — “Самой высокой производительности на пахоте достигла бригада Владимира Гонты. Организация весенне-полевых работ в бригаде может служить примером для всех механизаторов района...” — И многозначительно поднял свой блокнот. — Вот как про Гонту некогда говорили! И кто говорил! Сам Смолич, секретарь обкома, — он выступал у нас на районном партактиве перед войной. А то, что видишь, — лишь малая толика отчета: “районка” давала его тогда на целой странице.

— Любопытная цитата, — заметил Олег.

— Цитата! — возмутился Гонта и снисходительно, словно перед ним было малое неразумное дитя, поглядел на Олега. — Это, милый ты мой, жизнь, и ее не вернешь. Может, лучше будет, может, нет, но той уже не вернешь. Я ту мою жизнь все военные года, как сказку, вспоминаю... А на активе, кстати, я в президиуме сидел. Обочь Смолича. Ну, тот увидел, что я в блокноте — такие блокноты многие тогда в киоске купили — заметки делаю, наклонился ко мне, спрашивает: “Не выступать ли собираетесь?” — “Собираюсь”, — отвечаю. А я, понимаешь ли, братка, никаких там набросков не делал, просто записывал интересные мысли да всякие цифры, но сам выступать и не думал. Да так он доверительно спросил, что отважился. Ну, я и выдал с трибуны: вдвое, мол, наша бригада увеличит до конца года выработку на трактор! Что тут было в зале!.. А по дороге домой директор МТС устроил мне взбучку: “А с бригадой, прожектор ты этакий, ты согласовал?” Бригада, говорю, меня поддержит. “А как сядешь в лужу да меня рядышком посадишь?! На весь мир опозоримся!” В луже, отвечаю, делать мне нечего, позора не боюсь, не будет позора. Директор вновь с голосом: “С народом ты советовался? Лично со мною, прожектор, ты советовался?..” Слушаю, хоть и обидно, понятно: всего два тракториста да два сменщика в бригаде, разве ж не договоримся? Но молчу, как ни крути — нагоняй-то справедливый: с хлопцами не посоветовался, директора не предупредил, а на трибуну влез. Правда, с твоим батькой разговор как-то был — мол, машины у нас новые, тянут, как звери, и нормы можно легко перекрывать...

Назавтра директор в спешном порядке собрал бригаду: что думает народ? А народ — “даешь две нормы!..” Твой батька всех активнее был. Помнишь, я приходил к вам в тот день?

Олег не помнил, но признаться в этом было неловко.

— Вы к нам часто заходили, — неопределенно проговорил он.

— В тот день вы на сотках бульбу сажали. И мы с твоим батькой под яблоней толковали. Помнишь, еще кадушка под яблоней стояла?

— Красная, мы ее с Сережкой красили.

— Ну-у, цвет не припомнить. А вот как твой Сережка на коне хотел прокатиться — это помню. Все галдел: посадите, мол, на коня, волокни в руки дайте. В школе у вас занятий, что ли, не было?

— Как же не было? Были, — усмехнулся Олег, — сочинение писали. А потом я с хлопцами поссорился. Они мне прозвище приклеили.

— Обидное?

— Да где там! Сивограк... Как вспомнишь — смешно. Детская обида.

— Обида, знаешь, любая — дело поганое. С ней встретился — старайся быть выше, в сердце ее не пускай. Как бы ни пришлось, но не пускай. И от чужого глаза подальше держи. Не показывай...

— Постараюсь...

Гонта не спеша закрыл блокнот, подержал в руке, словно взвешивал, потом аккуратно положил в карман заношенного, мятого, некогда коричневого пиджака, ворот которого и рукава блестели, как засаленные. Прищурил глаза, он смотрел в ту сторону, куда вела поросшая травой дорога, едва различимая теперь на заброшенном поле. Справа, под взгорком, в спокойном синем мареве темнели трубы сожженных хат; задымленные сверху, посереде-

не красные, будто еще не успели остыть от огня, и белые снизу, с закопченными зевами печей. Ветер перебирал чернобыльник, который уже поднялся на пепелищах, и казалось, что из тех черных провалов в печах неторопливо выползают, скатываются на землю гибкие гривы зеленоватого дыма.

— От чужого глаза схоронить обиду — не фокус, — сказал Олег, — а вот в сердце, как вы говорите, не пустить — это непросто.

Возразив, Олег понял, что делать этого не следовало: Гонте расхотелось дальше продолжать разговор — вытащил из-под мешка вожжи, связал концы узлом, небрежно поматывает ими в воздухе, словно отгоняет пыль. Коня Гонта не погонял.

— Вижу, задело тебя за живое, — после продолжительного молчания проговорил Гонта, по-прежнему поматывая вожжами, связанными узлом.

— Задело? С чего вы это взяли?

— Разведчика да в хозяйственный...

— Приказ есть приказ.

— Все верно. Но если таишь обиду на Лысюка, то зря. Это приказ райкома партии, а не выдумка Лысюка.

Олег весело рассмеялся — впервые за сегодняшний день.

— Чудеса да и только! Райком дает персональное задание какому-то Сверину!

— Я не говорил, что персональное. Людей командование, конечно, подбирало. И задание наше только внешне простое. У Лысюка бой, и у нас бой, если на то пошло, и тоже важный.

— Важный так важный. — Олег буркнул зло, недвусмысленно: вновь оживала обида. Лысюк, значит, подбирал людей! И никого другого не нашлось у Лысюка — его, Олега, послал к Гонте! И напрасно, напрасно Гонта старается утешить!

— И наш бой, думаешь, несложно выиграть? — гнул тот свое. — Ты посмотри вокруг. Деревни сожжены, поля незасеянные, невспаханные. Пустошь... А человека святым духом не накормишь. И райком правильно решил: от каждого отряда — по взводу на посеvную. Одни хлеб посеют, другие — бульбочку. Уж бульбочку, наверное, ты любишь?

Олегу вспомнились Лысюковы слова. Обида стала почему-то утихать, и он сказал со смешком:

— Драники я люблю!

— А я, брат ты мой, клецки. Да чтоб в каждой и шкварочка была, и лучок, и тминчик. Да в бульоне густом, наваристом, щедрым. Такую клецку как раскроишь ложкой — дух, словно волна от бомбы! Аж голова идет кругом!

— Мой батька тоже о-очень любит клецки.

— В моей хате они не переводились. Женка готовила их по-царски. Хотя, как говорится, и неумеха печет, коль из амбара течет. Главное, чтоб амбар — полный. А вот это уже непросто. Видишь, какую силу отрядили? — Он кивнул на две подводы, что катили позади них, сокрушенно вздохнул: — Три лошадки у нас всего. А там же — залежь. Моей довоенной бригаде целый день пахать да пахать...

В голосе Гонты звучали одновременно и доверительность, и тревога, и Олег торопливо, но уверенно пообещал:

— Справимся!

— Там видно будет, как справимся. А пока одно ясно: попотеть придется. — Гонта снова вздохнул. — Оно как и Лысюку за Двиной — не на гулянку едем.

— Зачем вы меня все время утешаете?

— Никого я не утешаю. Но порой обидно бывает... Ведь некоторые на хозвзвод как смотрят? Сплошь бездельники, дескать, в нем собрались.

— Я этого не слыхал.

— А мне доводилось. Но я близко к сердцу не принимаю. И тебе не советую.

— А я и не принимаю!

— Ну тогда и лады, — похвалил Гонта. — А хлопец ты с головою... Н-но, милый!

Он дернул вожжи, потом опять сунул их под мешок с картошкой и внезапно громко зашел — по-украински, с душевной тоской:

*Дивлюсь я на нэбо тай думку гадаю:
Чому я не сокіл, чому не літаю?..*

Песня эта была хорошо знакома Олегу. И очень знакомыми были и это протяжное “нэ-эбо-о”, и словно бесконечное “літа-аю-ю”, и эта поза Гонты — голова, склоненная к плечу, сладостно прищуренные глаза. И как быстро отстранился он от всего на свете, от недоброй молвы и насмешек, от разговора с Олегом. Нет, глаза широко открыты, жадно вглядываются в поле, где дрожит бело-синее марево, похожее на реденький туман. И какой ласковый, мягкий, мечтательный голос... И как знакомо пахнут мешки! Ни с чем не перепутаешь сладковатый запах картошки, которую только-только достали из бурта. Так всегда по весне пахнет и в хате от рассыпанной под окном, — чтоб быстрее проросла, — семенной картошки...

Олег потрогал мешок — он был пестрый из-за множества цветных латок и шишковатый, картошка прямо распирала его — и тоже прищурил глаза. Каким далеким сразу стало поле, и как славно дрожит над ним теплый воздух — будто поднимается реденький бело-синий пар.

“И мы с твоим батькой под яблоней толковали...”

Эти слова всплыли неожиданно, и тот далекий день, о котором вспомнил сегодня и Гонта, снова встал у Олега перед глазами. На короткий миг показалось: не сидит он сейчас на дребезжащей телеге, а спешит из школы домой, бежит с обидой на своего приятеля, — какое глупое прицепил ему прозвище! — бежит к хате, за которой в огороде полным ходом кипит работа — отец и мать сажают картошку.

— Э-гей, помощничек! — зовет отец. — Давай-ка подключайся!

— И я работаю, — не выговаривая кучи букв, хвастает Сережка, едва Олег подбежал к воротам. — Я уже много сделал...

Мать выходит навстречу, смеясь, гладит Сережку по голове:

— Без него бы нам точно не управиться. Крепко он нам с татой помогает. Стахановец! Так справно наполняет лукошко бульбой, что мы и садить-то не успеваем. Что в школе было?

— Сочинение писали.

— Написал? — тревожится мать.

— Ага. Очень легкое сочинение.

— Ну и хорошо. Ступай в хату, испей молока. А потом уже будем кончать работу.

— И я хочу, и мне молока! — требует Сережка.

Мать успокаивает малыша:

— Вместе будете пить молоко. Ручки ему, Олежка, помоги помыть. Мой ручки хорошо, Сереженька!.. Молоко в сенях, только что из погреба достала...

Молоко холодное, вкусное. И хлеб вкусен — душистый, мягкий. И до чего же хорошо сидеть на пороге сеней и запивать такой хлеб таким молоком!

— Что в школе было? — повторяет Сережка мамин вопрос, следя за скворцом, который сел на скворечник, прикрепленный к коньку хлеба. Скворец чистил перышки, и шея у него отливала синью, как у сизоворонки.

— Уроки были, что ж еще. Сочинение писали. Ты разве не слышал, что я сказал маме?

— Слышал. Я тоже скоро пойду в школу.

— Пойдешь, пойдешь. Я тебе свой ранец отдам.

— Не хочу твоего ранца. Мне татка новый купит.

— Гэ-эй, мужички! — весело зовет с огорода отец. — Кончайте полудничать, работенка ждет. Тащите сюда картошку!..

Пока Олег отнесил кружки в хату, Сережка вцепился в полное лукошко и, силясь поднять, опрокинул его набок: картошка раскатилась по земле во все стороны. Малец всполошенно глядел на дело своих рук, потом начал реветь.

— А говорил, что в школу пойдешь. Того, кто распускает нони, в школу не берут.

— А я не распускаю. — Сережка поспешно принимается собирать картошку.

Олег помогает ему, затем тащит лукошко на огород. По бороздам прыгают скворцы, перепархивают с места на место. Олег идет по раструженному навозу, кладет в борозду картофелину за картофелиной, и плуг заваливает их широким пластом черной жирной земли.

— А становись-ка, сын, за плуг, — предлагает отец.

Мать возражает:

— Не выдумывай, Лявон. Надо кончать быстрее.

— Пусть попробует. Пусть прогонит парочку борозд. Он у меня на трактор завтра сядет. Там сколько лошадиных сил? А тут всего одна. Справится. Становись, Олежка!..

Сперва все идет хорошо. Но потом холодные блестящие ручки вырываются из рук, лемех тащит в сторону и он глубоко врезается в землю, выворачивает бурюю дрову. Отец останавливает коня, сам берется за ручки плуга.

Прогнав полборозды, он снова передает плуг Олегу, но, не выпуская вожжей, помогает сыну одной рукой.

Сережка тоже рвется к плугу:

— И я хочу! И я хочу!..

— Что ты с ним будешь делать? — как с равным, советуется отец и зовет: — Иди сюда, пахарь! Будем вместе работать...

Сережка становится с одной стороны плуга, Олег — с другой, а посерединке — батька с вожжами, и так они прогоняют последнюю борозду.

В этот момент и появляется Гонта. Он по-праздничному разодет — в сером костюме и желтых ботинках, на которых играют блики солнца.

— Э, да у тебя тут, Лявоне, целая бригада! — восклицает он, остановившись у яблони. — Пожалуй, надо заключить договор на обработку колхозных земель...

Отец тоже весело шутит:

— А что, можно!.. Любое поле тебе засеем — бригада подобралась первоклассная. — И уже посерьезнев: — Что новенького в районе?

— Да что нового! Район цветет и процветает. Лишь бригадир твой отцвел: на трибуну сдуру сунулся. Вот уж не думал, что она закачается. А — закачалась. И понесла меня...

— И далеко?

— Дальше некуда. Там, наверно, и Макар телят не пас...

Станный, малопонятный разговор взрослых все равно интересен. Но отец велит отвести коня в конюшню. Хоть ты разорвись — и послушать про трибуну, которая качается, ходит ходуном, охота, и верхом на коне не каждый день доводится ездить!

На конюшню, понятно, Олег едет улицей, а назад чешет полем, напрямую.

Мама с Сережкой ушли уже в хату, а батька толкует с Гонтой по-прежнему под яблоней. Батька сидит на кадке — на коротких горбылях, уложенных поперек нее и застеленных сложенной вдвое клеенкой с кухонного стола, а Гонта стоит согнувшись, словно рассматривая что-то под ногами.

— Да можно дать те нормы, можно! — Батька произносит эти слова запальчиво, кажется, что он успокаивает Гонту. — Только обмозговать все надо как следует.

— Золотой ты человек, Лявоне, — отвечает взволнованно Гонта. — Сдам я тебе бригадирство, и — кранты!..

— Бригадирство сдать несложно. Посложнее мозгами шурупить. Веды слово не воробей, вылетит — не поймашь. — Батька умолкает, увидев Олега, добродушно спрашивает: — Ну, помощник, с коня не свалился?

— Мы твоему орлу — орел же у тебя хлопец! — стального коня через год дадим! Хотя чего, год ждать не будем — завтра же дадим! Справишься с таким конем, Олег Лявонович?

— Ему надо сперва с наукой справиться, — мягко прерывает Гонту батька. — Ступай, сынок, в хату, займись своими книжками. И маму сюда пришли...

Олег готовит уроки на своем обычном месте — подле окна, которое выходит в сад. За яблонями виден близкий лес, и над ним висят белые, точно вырезанные из бумаги, вытянутые облака. Олег читает стихотворение, которое надо выучить на память, и слышит, как начинает петь Гонта. А вскоре потихоньку вступает и батька, и песня звучит красиво...

Ту же самую песню поет Гонта и сейчас. Но вот умолк, отчего-то вздыхает.

— Ты чего не подтягиваешь? — с упреком спрашивает он. — Слов не знаешь?

— Знаю. Не все, правда.

— Батька твой, помню, и слов не знал, но песня у нас получалась. Хороший у тебя батька. Кончится война — придут вести. Только какие они будут, те вести, — никто не ведает... — И, спохватившись, что сказал не то, что следует, поспешно добавил: — Хорошие получишь вести — батька твой смелый, пуля его не возьмет. — Гонта опять затянул было свою песню, но тут же оборвал ее: — Перед самой войной, в марте месяце, мне досталась путевка на Черное море. Комната в санатории выпала большая, светлая. Кроме меня в ней жили два украинских хлопца, трактористы. О, какие это были мастера петь! Сядем, бывало, вечером на террасе, морем любуемся и поем — вот эту самую песню. Весна была в самом разгаре, теплынь стояла, повсюду бело-розовые от цветения сады. С моря я и привез эту славную песню. Очень ее люблю... Эх, если бы ты хоть краем глаза глянул, что за прелесть — море!

— Да я же видел.

— Как? — встрепенулся Гонта. — Когда? Постой, постой... Или это ваш класс премировали путевкой в Артек?

— Ну. Только не все же ездили, лишь наше звено — мы больше всех колосков собрали.

— Значит, на морских волнах и ты покачался, — отметил довольно Гонта.

— Не очень.

— Почему? Вода была холодная? Это, между прочим, случается даже в жару.

— Нет, теплая. Но купались мало — то сборы, то походы, то игры.

— Поехал бы снова?

— Еще бы!

— Тогда решено, — проговорил Гонта, и Олег не сразу понял, что тот шутит. — Это решение и записываем.

— Какое решение?

— К морю едем. Войне капут — и едем. Садимся с тобою в бричку, запрягаем вот этого рысака — и покатили.

Так они мешали реальную жизнь и веселую выдумку, и, странное дело, на душе было легко, а будущее казалось близким и прекрасным — в него верилось. Действительно, окончится война, вернутся домой отец, мама с Сережкой, и тогда... Что тогда? Куда вернуться, в какой дом? На пепелище? Ведь там, на месте родной Рудни, тоже чернеют трубы, как и здесь, у дороги.

Гонта pokrutil вожжи, затянул снова песню с первой строки:

Ды-ывлюсь я на нэ-эбо-о...

Олег слушал, как поет Гонта, глядел на синие полевые просторы, и опять ему вспомнился тот день, когда он помогал отцу садить картошку.

Хорошо, однако, поет Гонта. Тогда они с отцом, помнится, до позднего вечера пели, сидя под яблоней. А вот за всю войну, сдается, Гонта ни разу не пел. Во всяком случае, Олег не слышал. Правда, он бывал в хозяйственном взводе лишь изредка. А у разведчиков свои песни. Впрочем, нет, и Лысюк любит эту песню, пел ее. Уж очень мягкая, напевная мелодия. А вот слова — слова не все остаются в памяти...

И постепенно таяла обида на Лысюка. В самом деле, в чем же его вина, не выдумывал же командир нарочно для Олега это задание, и не один

он, Олег, едет на работу в поле. И напрасно он смотрел на хозяйственников свысока: у них тоже свои задачи, и задачи незряшные.

Ощущение важности предстоящей работы бодрило, и Олег подпевал Гонта, глядя на синее марево над полем и мечтая о светлых днях, что ждут его впереди и вселяют в душу надежду.

3

Сдвинув на самую макушку фуражку, надетую задом наперед, Гонта легко и быстро шел за плугом, насвистывая какую-то веселую, незнакомую Олегу мелодию. Вожжи, связанные на конце толстым узлом, он перебросил через шею, и лишь изредка, когда надо было повернуть коня, как-то фасонисто дергал их одной рукой.

Олег шел следом и едва успевал выхватывать из ивовой корзины картофелины и класть в борозду — Гонта уже гнал новую. Обласканная солнцем земля пахла дурманяще, сыпалась на сапоги, на руки, и каждое прикосновение к ней пальцами было приятным. Возле крушни — кучи камней, свезенных с поля в одно место, — буйно цвели яблони-дички, почва там была холодная, вязкая, она липла к рантам сапог и даже к голенищам. Прилиная к подошвам и каблукам, она отваливалась только в конце борозды, уже на сухом, прессованными серыми лепешками, прошитыми желтыми нитями корешков. Плуг оставлял около крушни гладкие, жирные полосы, и они маслянисто блестели.

Мешал карабин — он все время сползал, сваливался с плеча, больно бил по коленям. Олег резкими движениями поправлял его, утирал рукою лицо. Неплохо было бы передохнуть, да неудобно просить Гонта — что же ты, скажет, хлопец, никак сдаешь позиции? Дядька же вроде как двуужильный — не идет, а чуть не бежит за плугом, усталость его не берет. Но наконец установился.

— За чем задержка? — спросил Олег, хотя и был рад короткой возможности перевести дух.

— Может, перекусим малость? Ты, смотрю, взмок, хоть выжимай тебя.

Олегу не хотелось, чтоб Гонта устраивал перерыв только ради него. Сперва надо добить свой клин. За ольхами пахари вон как надают.

— Ты на них не гляди, — поймал Гонта Олегов взгляд. — Там мужики — кряжи. Дорвались до земли, теперь их от нее и танку не оторвать... Тпру-у!.. Стой, холера!..

Гонта, не снимая с шеи вожжей, согнулся, взял ком черной земли, начал с наслаждением нюхать, будто то была краюха свежего хлеба, губы выгнул, ноздри раздул.

— Перестояла земелька, — проговорил он озабоченно, перетирая в пальцах землю: мелкие комочки сухо зашуршали по его сапогам. — На неделю бы раньше... Как ты думаешь, га? Как считаешь?

В голосе дядьки не было и тени насмешки, он советовался с Олегом, как с равным. Олег тоже взял комок земли, тоже понюхал и начал медленно, по-гонтовски, растирать его в пальцах.

— Да нет. Самое, кажется, время... Видите, как крошится, — сказал он и почувствовал, что ему приятно это говорить. — А возле крушни даже не прогрелась как следует — под дичками, наверно, долго снег не таял. Пальцы забнут, когда картошку там кладешь в борозду...

— Два года поле гуляло. Бульбы теперь родит — видимо-невидимо.

— Она тут должна быть рассыпчатой. Картошка по люпину всегда хороша.

— Есть у тебя, братка, вкус к земле, — похвалил Гонта. — После войны ступай учиться на агронома. Пойдешь на агронома?

— Я об этом как-то не думал.

— Фю-ю, — присвистнул Гонта. — И мечты нет никакой?

— Капитаном хотелось... Дальние страны повидать...

— А что? И это неплохо. Как приеду к тебе в гости, так хоть покатаешь по морю.

— Мы ведь уже договорились, — пошутил Олег. — После войны вместе к морю двинуть.

— Это — на отдых, — сказал Гонта серьезно. — А оставаться там совсем? Э-э, нет! Я не намерен. Я без этих своих лесов соржавею, как старый гвоздь... Ну, погнались дальше?

С каждой новой бороздой корзина в Олеговых руках становилась все тяжелее, картофелины чаще и чаще цеплялись толстенькими фиолетовыми ростками за ее края, а поле будто удлинялось, раздавалосьвширь, и перед глазами блестели, ровно смазанные маслом, пласты свежеспаханной земли.

Стараясь не отставать от Гонты, Олег уже не столь бережно, как вначале, доставал картошины из корзины и не столь старательно затачивал их в борозду. Оглянувшись, он увидел, что картошка лежит неровно, и обругал себя. Ты что же это, лайдак, делаешь? Спустя рукава работать начал! Устал, видите ли, бедняжка. А Гонте легко? А Лысюку за Двиною легко? Ведь дважды пытался отряд взорвать тот чертов мост, через который немцы гонят и гонят на запад эшелоны с награбленным добром. Без тяжкого боя к тому мосту не подойти...

Но почему, странно, не слышно боя? Может, переправиться не удалось?.. Лысюк да не переправится? Смех да и только! Лысюк все сделает. Лысюк всегда все делает как надо. И он, Олег, должен выполнить свое задание как надо, сделать все так, чтоб потом не было стыдно.

— Ты оставь карабин, — посоветовал Гонта. — На телегу поклади, чтоб не мешал. Вокруг же тихо...

— Вам ведь автомат не мешает...

— Мне не надо кланяться без передышки.

— Ничего, я со своим карабином дружу...

— Ну, как знаешь. Давай минутку постоим. Что-то конь наш взопрел на этой залежной земле — тяжело идет плуг... — И вдруг сказал с волнением и радостью в голосе: — Да ты глянь на яблоньки! Мать честная, до чего же хороши они в белом цвету! С этой стороны они совсем другие!

Гонта, не выпуская вожжей, показал на яблони, под которыми на торчащих из молодой травы камнях стояла телега. Отсюда, с конца поля, крушина была похожа на острый клин, выходящий из лозняков, которыми порос берег Двины. Казалось, из густых зарослей выплывал и медленно двигался на черную пахоту челн под белыми парусами.

За Двиною громыхнул сильный взрыв. Эхо еще катилось по окрестностям, когда, словно догоняя его, громко и сухо застучал пулемет; дробно, будто горох забарабанил по жести, покатилося стрекотанье автоматов.

— Наши, наши это! — обрадовался Гонта и, словно Олег ничего не слышал, повторил: — Наши! Значит, скапутился мостик, слава богу!

Олег поставил, едва не бросил, корзину на землю, поправил за спиной карабин и, ощутив ладонью прохладный гладкий приклад, с сожалением произнес:

— Э-эх, туда бы сейчас!

— Пока мы туда притащимся, там, брат ты мой, все уже кончится. — Гонта с деланной озабоченностью нахмурился, пробурчал: — Давай-ка пошевеливайся — не бросать же поле незаконченным. Надо выполнять то, что приказывают...

Прислушиваясь к отзвукам боя, Гонта все чаще и чаще дергал вожжи, покрикивал на коня, не задерживался даже на краю поля, а, развернув плуг на обмелке, тут же гнал новую борозду. Время от времени он оглядывался, бросал коротко Олегу:

— Хорошо, братка, хорошо!

С каждой новой бороздой тяжелели сапоги, измазанные липкой землей. Тяжелела и корзина. Пот застилал глаза, и они начали слезиться. Пахота поблескивала на солнце, будто была накрыта тонким мокрым голубым пологом. Хотелось остановиться, лечь на вспаханное поле, остудить на нем горячее тело. Но Гонта как одержимый гнал борозду за бороздой, и нельзя было отстать, присесть на минуту... И здесь, на поле, они тоже ведут бой. Свой бой!

Очереди за рекой сыпались реже, потом прогрохотали два глухих, не очень сильных взрыва, и стрельба поутихла, перекинулась куда-то вправо.

Гонта встревожился.

— Чего-то затянулось там, у моста... Может, все сорвалось, отступили? — спросил он озабоченно, развязывая вожжи.

— Так взрыв-то был!

— Хорошо, если он был там, где ему положено быть. Мост так сразу не поставишь, а тут, гляди, фронт подождет. И тогда фашисту будет полный капут: ничего не увезет... Но чего вон аж куда переместилась стрельба?

— Взорвали и отходят. Скоро узнаем, что там и как.

— Ты клади картошку, клади. Работы осталось всего ничего.

Как только пласт рыхлой земли завалил в последней борозде серую цепочку картофелин, Гонта тотчас же, очень торопливо, подогнал к телеге коня, принялся отцепливать плуг. Олег бросил корзину на пустые мешки и устало опустился на землю, по которой поднималась темно-зеленая метлица. Лежал на спине, разбросав руки, перебирая пальцами зеленый ежик молодой травы.

— Ты чего это надумал?! — напустился на него Гонта. — Разгоряченный распластался на сырой земле! Скрутит в баранку. На телегу ложись, на сухое. — Он разнул коня, намотал вожжи на ручку плуга, тревожно поглядел в сторону реки. — Но чего она вон куда повернула? — говорил он. — И — поубавилась. Может, неудача у хлопцев?.. Э-э, куда тебя гонит! — Согнувшись, он поймал вожжи, которые конь потащил по земле, вновь зацепил за плуг. — Не стоит ему, к воде тянется. Пусть остынет, тогда и напоим, — махнул рукою Гонта на коня. — Щипли травку. — И спросил, повернувшись к Олегу: — А может, и нам попасться? Хлеб есть, колбаска...

— Тогда надо всех звать. А они вроде бы куда-то двинулись?

— Как двинулись? — удивился Гонта. — И верно. Подбегу-ка я к ним. А ты — накрывай стол. Хлеб и колбаска здесь, в торбе. Чай — во фляге...

Гонта пересек обмежек и скрылся за редкой цепью старых искривленных вязов. Вскоре вернулся, сел на телегу рядом с Олегом, налил в алюминиевую кружку чаю, одним махом выпил и сказал, вытирая губы ладонью:

— И у немца, скажу тебе, губа не дура. До войны я никогда холодного чаю не пил. А он совсем неплох.

— Одни будем перекусывать?

— Одни. — Гонта следил за тем, как Олег режет ножом твердую, будто дерево, колбасу, потом проговорил с сожалением: — Хлопцы поехали на Долгое поле. Там, сказали, будут обедать. — Он взял скибку хлеба, положил сверху кольцо колбасы, но, не сумев откусить, порезал на тонкие кусочки, по одному клал в рот, медленно жевал. Неожиданно засмеялся. — Ну и народ! Знаешь, из-за чего они ударились в амбицию и не захотели с нами подкрепиться? Из-за того, что обскакали мы их.

— Вместе ж кончили.

— А у нас загон длиннее. Вот им и досадно. — И добавил довольный: — А в работе ты — хват. Доложу об этом Лысюку.

— Зачем?

— А чтоб знал: толковый ты хлопец на все сто процентов. Словом, когда бульба поспеет — мы с тобой прикатим сюда и председателя за бороду: даешь драники. Со шкварками! С луком! Неделю будем пировать!

— А море как же?

— Море, море! — Гонта, смеясь весело и добродушно, покачал головой: — Сперва, конечно, море. А как вернемся — драники и поспеют. Из молодой бульбы — это же царская еда. Не сравнишь с колбаскою.

— Не сказал бы, мне колбаса нравится, очень вкусная, ароматная.

— А что, действительно неплохая колбасочка? То-то! Некоторые думают, что Гонта, мол, льнды бьет в своем хоззведе. — Он медленно, морщась, прожевал последний кусок, запил чаем, принялся не спеша завинчивать флягу. — Из-за этой колбаски, братка, у меня было много бессонных ночей. Отряд же, считай, на мне: и накормить людей надо, и одеть,

и обувь... Прорва самых разных забот. В разведке, скажем, что? Пошел, разведал, доложил... А зимой, в феврале, — о блокаде тогда еще и слуха не было! — мне, знаешь, какой приказ дал Жаров? “Каждому партизану — энзе на десять дней”. А это ж и сухарей насуши, и колбаски сухой заготовь, и флягой каждого обеспечь... Пришлось нам покрутиться. Но приказ выполнили. Видишь — весит совсем немного, а кусочек съел — уже не голоден, можешь воевать. На пустое брюхо — плохой ты вояка.

— Колбаса отличная. Первый сорт!

— А мне, считай, она не по зубам. Болят десны, спасу нет. — Гонта потер пальцами щеки, морщась, силится унять боль. — Прошлым летом все началось, после весны, которую без соли прокуковали.

— У меня тоже болели. Купоросом и сосновыми почками спасся.

— Молод, потому и зажило. Да и без соли теперь не сидим...

Гонта опять поморщился, прижал ладонь к щеке, и кожа под пальцами побелела. Олег впервые увидел в глазах Гонты неприкрытую печаль и с обостренной жалостью подумал о том, что вел себя сегодня утром непростительно высокомерно и паршиво. Так разговаривать с Лысюком! А как к Гонте он сперва отнесся? Как сопливый мальчишка!..

— Не сводить ли коня к реке? — спросил Олег и слез с телеги. Он, чувствуя угрызения совести, ухватился за эту идею как за единственную возможность хоть на время не мозолить Гонте глаза. — Утомился конь...

Гонта pokrutil головой:

— К реке тебя тянет. Посмотреть, не возвращается ли Лысюк. Так они ж у Черного ручья должны переправляться. Далеко...

— Я знаю. Коня мне жаль. Он пить хочет...

— Да, утомился крепко. Сюда бы моего довоенного коня. Железного! Помнишь, как ты его едва не ухайдокал? Ох, и рассерчал я тогда. А потом — глупый смех охватил. Хорошо еще, что ты не растерялся...

Напоминание об истории с трактором было не из приятных, и Олег попытался сменить пластинку:

— Думаю, уже время поить коня...

— Трошки, видать, рановато. Э, слышишь? Моторы гудят. Нет, стихли. За рекою, кажется.

Олег прислушался, потом уверенно проговорил:

— Пожалуй, где-то ближе. Подскочу к Двине, глянну.

— Что ты там через заросли разберешь? Лучше приляг, отдохни. Нас еще поле под Венцовом ждет.

— Под Венцовом?! — изумился Олег. Он впервые слышал, что им придется садить картошку еще и на втором поле. — Там же с шоссе все как на ладони видно! Врежут из пулеметов...

— А мы — вечером, когда с реки нагонит туманчику. Картошку туда подвезут. В лесок подвезут. — Он начал взбивать сено на телеге — под голу. — Сенцо нагрелось под солнцем. Прямо как летом. Ложись.

Гонта откинулся на спину, свесив ноги к земле, громко зевнул и прикрыл голову фуражкой; фуражка скрыла все лицо, уперлась козырьком в подбородок; вскоре, однако, она помалу сползла, и лоснящийся козырек согнул правое ухо, сделал его похожим на красный осенний лист.

Гонта уснул сразу же, посапывал, чмокал губами, потом дыхание его замедлилось, стало глубоким, и в такт дыханию ритмично выгибался горбом и опадал верх фуражки, выгоревший до белизны, местами в черных пятнышках-пропалинах.

Олег примостился сбоку, ощущая сердцем удивительное доверие к Гонте. Теперь он окончательно поверил в важность задания, которое выпало на их долю: сажать картошку под самым, как говорится, носом у немцев — это и смело, и дерзко! Это настоящее дело. И рискованное!..

Как же хорошо лежать на прогретом солнцем сене. И какая густая синь разлита над головой. И как мелодично гудят-звенят над дичками пчелы. Верхние ветви белых яблонь ярко освещены и кажутся далекими, дробными, будто достают деревья до самой небесной лазури и до ветвей дотрагиваются белопенные облака. Была и в прошлом году весна, и в позапрошлом...

Всегда случались ясные, прозрачные дни... Но вот такого неба, кажется, и не бывало во все эти долгие и тяжкие годы войны.

Небо манило, несло покой, неспешные думы, баюкало. Совсем недолго осталось гремять под ним войне: капут ей, как говорит Гонта, капут безоговорочный, бесповоротный. Фронт близок, и картошке, что легла сейчас в весеннюю теплую землю, расти под мирным уже небом. И полю этому не доведется больше слышать грохота взрывов, свиста пуль... Какого же колхоза это поле? Надо спросить у Гонты — он все знает, все в памяти держит. Даже ту историю с трактором.

А случилось все перед самой войной, за неделю до начала. Бригада Гонты бороновала поле, бывшее под паром. Бороны или культиваторы были прицеплены к трактору? А! Гонта остановил Олега — он бежал к реке — и попросил пособить прицепить культиватор...

Странный сегодня какой-то день — необычно живо вспоминаются довоенные времена... За обмежком буйно росла густая россыпь подбела, дальше струился ручей, а поле было желтое от сурешки, и Гонта стоял в ней, будто запутался ногами. Вытер руки, сунул в карман замазленную ветошь, закурил.

— Главлей, значит, щелкать нацелился? Берутся хоть?

— На комара теперь ловим. Хорошо.

— А на моем коне хочешь проехать?

— Я уже ездил, на отцовском. Он целый гон мне пройти разрешил!

— Ого! Да ты, оказывается, настоящий тракторист.

— Сначала я вместе с батькой ездил. А вчера один.

Отец и раньше приучал Олега к трактору, а накануне действительно позволил ему пройти целый гон. Поле выпало ровное, трактор чутко слушался каждого движения руки, и плуги ни разу не напоролись на камни, отваливали, как под линейку, широкие пласты. Уже за ужином довольный отец рассказывал о том, как Олег работал на тракторе, и его слова воспринимались как вполне искренние. Да, он, Олег, батькин помощник и настоящий тракторист.

Отец говорил все это с уважением к сыну, а Гонта — с какой-то снисходительностью, словно подсмеивался.

— И даже один? Ну и ну! Покажи и мне свое высокое мастерство.

— Могу. Не тяжело...

Гонта не сошел с трактора, остался сидеть обочь на железном ящике у правого колеса. Батька так уже не делал. А этот не доверяет, опасается. И всегда ведь волнуешься, когда смотрят тебе в спину, следят за каждым движением... Но трактор послушен, идет ровно. А теперь, в конце поля, надо развернуться, как положено. Батькин трактор гудит заметно тише. Но этот легче поворачивает...

Гонта некоторое время молча наблюдал за Олегом, потом вдруг сказал:

— Пошли ты в болото своих главлей. Ступай к нам, в бригаду. Ай да Олег! Ай да Лявонов сын! Готовый тракторист! — И уже серьезно: — Гони теперь на тот край. А я пока бочки к дороге подкачу. За ними придет машина. Чего ей прыгать по пару, верно?

Олег, как только остался один, готов был петь от радости. В самом деле, забросить к шутам те удочки, поработать властью. Как споро идет трактор. Теперь вот здесь, у обмежка, надо повернуть влево — на новый гон. Однако что происходит?... Почему такие глубокие борозды?... Земля пошла вязкая, колеса тонут в ней. И трактор ни с того ни с сего, как норовистый конь, заупрямился... Трясет его, подбрасывает. И натужно ревет мотор... Нет, хоть убей, совсем из повиновения вышел трактор, прет на березы! А там, за березами, ров... Гонта бежит через поле, размахивая кулаками. А ров уже близок! Надо отвернуть! Иначе — конец, иначе свалится в ров трактор. Как же повернуть? Не поддается, не желает слушаться!.. О нет, поворачивает...

“Я повернул его! Я повернул его!”

Олег даже не понял, как это случилось, почувствовал только, что трактор вновь послушен: выровнялся, пошел спокойнее. И мотор уже не заходится, работает ритмично. И какую ровную черную полосу оставляет за собой культиватор... Но как сердито лицо Гонты! Ну, сейчас вклеит! Э, да у тебя

же руки дрожат. Нет, это от напряжения, от того, что мелко дрожит вся машина...

Гонта, вскочив на трактор, стал за Олеговой спиной, шумно, устало дышал. Даже сквозь гул двигателя слышно его сильное дыхание. Но отчего он молчит? Собирается, что ли, с силами?..

— Погоняй, погоняй, хлопец! — внезапно засмеялся Гонта, по-дружески тронул Олега за плечо. — Хорошо, оседлал ты этого идола! Дай ему жизни, покажи кузькину мать!..

Трактор полз по склону поля вверх, по желтому разливу сурепки, но Олегу казалось, что он мчит, и так же летит, мчится навстречу из-за взгорка голубое небо...

Вечером отец, который узнал о происшествии, хмуро велел Олегу:

— Больше на трактор один не садись.

— Почему? Гонта говорит, что я сумел оседлать его коня.

— Он мне тоже кое-что рассказал об этом твоём оседлании. Ты чуть в ров не забурился! А если б забурился? Голову не снести в том рву, а Гонте — суд!

— Он меня не ругал. Ни одного плохого слова не сказал.

— Зато я говорю, — еще более хмуро обрезал отец. — Трактор — не забава. Одному без сноровки на нем делать нечего. Понял?

— Ну...

— По-человечески ответить не можешь?

— Да, понял.

— Вот и хорошо, если понял. — И уже незлобиво, с улыбкой: — Носа только не вешай. Научись, лишь бы охота была...

Как отчетливо все припомнилось! И голос отца, и рев трактора, что заупрямился, как испуганный конь, и смех Гонты, и желтое от сурепки поле...

Но мотор и сейчас где-то рокочет. Где-то близко рокочет!..

Олег приподнял голову, потом поспешно сел. От этого его движения пробудился Гонта, сдернул фуражку, спросил совсем несонным голосом:

— Чего тебе не ложится?

— Опять мотор почудился. Вроде где-то на Двине. Пойду к реке, гляну.

— Карабин прихвати обязательно. И не слишком там маячь, будь осторожен. — Гонта снова откинулся на спину, прикрыл лицо фуражкой, и уже из-под фуражки донося его короткий приказ: — Отгони коня от камней. За ольхами хорошая трава. Туда переведи.

— Может, напоить?

— Позже, позже. Распаренного коня — деревенский же хлопец, знаешь! — поить нельзя... На лужок его отведи, за деревья. Там клеверок хорош. Попасется, а потом и к воде сводишь...

Олег перевел коня, привязал вожжи к дереву и, огибая засеянное поле, направился к берегу.

Двина до сих пор еще не вошла в берега после паводка. Из желто-бурой воды торчали ветки краснотала, дрожали под течением, будто оттуда, из глубины, кто-то беспрерывно их тряс. У воды не ощущалось той духоты, что морила в поле, зажато со всех сторон деревьями; тянул ветер, порывистый, свежий, несущий прохладу. Но густой и пьянящий аромат черемухи и мокрого ивняка цепко держался над рекою, и дышалось легко. Олег чувствовал, как быстро покидает его усталость.

В небольшой затоке, где вода была спокойная, без заметного течения, притаилась щука. Сперва показалось, что это чернеет просто топляк. Олег пригнулся, чтоб разглядеть получше. Действительно, щука! И здоровенная! Эх, как же выхватить ее из воды? Затока неглубокая, видны водоросли, устилающие дно... Попробовать от реки отрезать щуку?..

Олег осторожно ступил ближе к воде. Но как ни старался, зацепил карабином лозовую ветку, она качнулась, и в тот же миг рыба черной молнией исчезла в глубине. Со дна поднялась и начала расплываться по затоке слоеная рыже-белая муть; глубинное течение, совсем неразличимое на глаз, быстро растягивало ее, и вода в затоке вскоре стала снова чистой и покойной.

Олег сел на берегу и притаился. Может, стоит подождать? Да нет, напрасные хлопоты, лови щуку в реке. Надо умыться да возвращаться назад.

Он потер руки песком, потом умылся и, отряхиваясь, начал подниматься вверх. Холодные капли скатывались за ворот, приятно щекотали кожу. Еще рано, вода не прогрелась — не искупаешься. Но ополоснуть лицо — тоже очень хорошо. Надо разбудить Гонту, пусть и он освежится.

Тропка круто брала вправо, минуя заросли, и Олег ухватился за толстую ветку, отвел ее — решил идти напрямую. Согнул ветку и замер, услышав стрекот мотора.

“Что это?.. Что это может быть?..”

Гул мотора донесся внезапно и был близким, словно прямо за спиной. Олег поспешно обернулся. Лозняками прошелся ветер, и в прогале показалось моторка, в которой сидели солдаты в черной одежде; на солнце резко блестела холодная сталь оружия.

У Олега перехватило дыхание: фашисты переправляются на этот берег! Переправлялись еще и тогда, когда рокот мотора был слышен с поля! Слышит ли хоть что-нибудь Гонта? Или по-прежнему безмятежно спит на телеге у крушни?

Держа карабин в правой руке, Олег рванулся по береговому откосу вверх, выбрался на зеленый клин густого клевера и присел, открыв от неожиданности рот, — фашисты и здесь, на поле!

Он метнулся обратно в кусты и протер глаза. Может, все это — лишь игра расхолодившегося воображения?.. Нет, увы, ничего ему не мерещится. Не исчезают фигуры в ненавистной одежде, идут крадучись, прячутся за вязами... но откуда они здесь взялись?.. Пусть себе и с неба свалились — теперь это все равно. Надо следить, куда они пойдут! Надо о главном думать: как отвести беду...

Да нет, не отведешь — разворачиваются цепью в сторону крушни... Подводу, значит, заметили, с той стороны реки заметили и ее, и его, и Гонту, и тех партизан, что работали на соседнем поле. Вот и явились, чтоб застать врасплох. Но неужели Гонта их не видит? Нет, не может он их видеть за дичками. Впрочем, если бы дички и не закрывали поле, он все равно не увидел бы. Он же спит... Они навалятся — он и опомниться не успеет!

“Опередить! Я разбудить его должен!..”

Олег бросился в борозду и пополз в сторону крушни. У него не было пока никакого плана, и он не знал, что будет делать, когда окажется у яблонь. Одна-единственная мысль владела им: доползти до телеги прежде, чем возле нее очутятся немцы, доползти, поднять Гонту. А может, уже и Гонта видит их? Нет, ничего, кроме снов, он не видит. Лежит себе на телеге, посапывает...

Олег полз быстро и вертко, как уж, едва не вжимаясь лицом в мягкую землю, едва не зарываясь в нее носом; земля от его дыхания казалась горячей. Камнем, торчавшим в борозде, он ободрал до крови пальцы, но боли не почувствовал. Понимал лишь одно и думал лишь об одном: медленно он ползет! Скорее надо!

Скорее!

Пашня окончилась, и он скатился в яму, что была на краю крушни, крепко ударился коленом о камень в траве и перевел с облегчением дух: теперь Гонта близко, Гонта рядом, на той стороне крушни, за дичками! Напрямую, однако, через густое переплетение ветвей с острыми шипами ему не пробиться. А поползи вокруг каменистого холма — обязательно заметят. А может, это и к лучшему? Заметят, начнут стрелять — и Гонта проснется!..

“От выстрелов?.. Так карабин же у тебя в руках!..”

Неожиданное, странно запоздавшее открытие обрадовало. Карабин при нем, и хорошо, что добрался до ямы, теперь он словно в окопчике. И вновь тарахтит моторка. Так же, как и недавно тарахтела! А Гонта не насторожился! Не насторожился и он, Олег. Разведчик! Щуку по реке пустился гонять, а немцев под самым носом не заметил, лишь в последний момент. Но сейчас проснется Гонта, он, Олег, разбудит его, и они найдут выход из положения, выкарабкаются из беды... Если бы можно было это предвидеть! Но что те-

перь подделаешь, теперь драться надо! Ты, между прочим, дулся целое утро, сокрушался, что перебьют всех фашистов без тебя. Пожалуйста, вот они, фашисты! Офицер что-то говорит, показывая рукою на яблони. Нет, на дуг посылает солдат, чтобы отрезать от леса...

Тихо, со стоном Олег выругался:

— Сейчас я тебе, падла, отрежу! Сейчас, айн момент!..

Кустик метлицы покачивался возле прицельной планки, дрожал у мушки; стебли казались черными и мощными. Фигура офицера тоже была очень черная, со сверкающими пуговицами на груди.

Олег выбрал из этих сверкающих точек среднюю, подвел под нее мушку и плавно нажал на спуск.

4

Гонту словно подбросило Олеговым выстрелом. Схватив автомат, он кубарем скатился на землю. Все произошло в считанные мгновения, и Олегу почудилось, что очереди немецких автоматов, густо полоснувшие по дичкам, изрешетили Гонту, и тот упал на землю уже мертвый.

Перезаряжая карабин, Олег вновь бросил взгляд в сторону телеги. Белые лепестки, сбитые пулями, кружились в воздухе, медленно опускались на темную пашню, и за этой яблоневою замятью он увидел Гонту, ползущего сюда, к нему. Жив дядька, жив!

— Я — здесь! Я — здесь! — радостно крикнул Олег. — По борозде, по борозде давайте!

Запыхавшись, без фуражки, Гонта кувыркнулся в яму, лег рядом с Олегом, быстрыми движениями утер потное, перепачканное землей лицо.

— Откуда они взялись? — силно спросил он. — Откуда?!

— Из-за Двины. И еще переправляются. Я моторку видел...

— Чего ж сигнала не подал? Чего ж ты, братка, не разбудил? — Гонта резанул очередью по немцам, которые перебежали у вязов, снова спросил прерывистым голосом: — Чего ж ты, братка, не разбудил?.. — И потом глухо хохотнул: — Не разбудил! Кабы к реке не пошел — сонных взяли бы. Тепленьких! Ну, спасибо! Ну, разведка, благодарю! Разведка, братка, спасла старого дурня. Фашист, не морщась, пятку мне чешет, а я силно, будто пшеницу продал!

— Надо как-то отходить. На луговину переползти, а там — и в лес!

— В лес! — хмыкнул Гонта и бросил короткий взгляд в сторону леса. — Хорошо было бы. Но как?

— Через луговину.

— На ней мы будем как на ладошке. Как на тарелочке. Подстрелят, это как пить дать...

Отчаянье сквозило в голосе Гонты, и Олег растерялся и, не совладав с собою, выкрикнул:

— Отходим! Немедля надо отходить!

— Не хнычь, разведка! Не хнычь! — резко оборвал его Гонта. — Дай опомниться!.. Следи за вязами, чтоб оттуда не поползли. — И добавил неожиданно мягко, с оттенком нескрываемой печали: — Может, и не надо нам никуда отходить... — И вновь, малость помолчав, все с той же печалью: — Есть у тебя, разведка, такое предчувствие?..

Эти внезапные смены в настроении, в голосе Гонты, от грубости до печали, которой он не таил, вдруг открыли Олегу глаза: настигшая их беда непоправимая, попали они в западню... И кругом виноват Гонта: устроился спать на телеге — и это тогда, когда на Двине тахкал мотор! Надо было сразу же бежать к реке, разузнать, в чем дело. А что теперь? В западне они, и, судя по всему, из нее им уже не выбраться...

Но отчего же не стреляют немцы?..

Нежным звоночком покатились с неба песня жаворонка. Олег сперва не поверил, прислушался. Нет, не ошибся: поет жаворонок, и выстрелы его не напугали!.. И пчелы домовито гудят, вон сколько их на цветущих дичках!.. Заботы у всех свои...

Ощущение непоправимости беды обострилось. Во рту росла, словно набухла, гадкая горечь. Олег пошевелил языком, с усилием слотнул какую-то тягучую, шершавую слону, и она, как рашпиль, прошла по горлу. И в сердце боль. Западня! А Гонта все еще на чудо надеется! Не стоит, дескать, никуда отходить. Жди, жди у моря погоды! Добра тут не дождешься!..

Олег опустил голову на повитый метлицей камень. Под ней, этой зеленой молодой травой, был слой летошней, сухой, и она шуршала у самого уха и пахла теплом. Виском Олег ощущал и тепло разогретого выстрелами карабина, и на мгновение показалось, что по твердому металлу переливается в траву тепло его живого существа, и жизнь оборвется в тот самый миг, как только иссякнет эта нежная струйка.

Широким неровным полукругом на пахоте у крушни лежали белые яблоневые лепестки. А некоторые еще кружили в воздухе, ветер подхватывал их, и они плавно опускались в борозды; пара лепестков белела на голове у Гонты — как будто его волосы были прожжены. На ветке, что нависала низко над землей, несуетливо трудились две пчелки. Перетрогав все соцветие, заглянув по-хозяйски каждому цветку внутрь, они перелетали на новое.

И это мирное занятие пчел, и песня жаворонка, и синий полог неба, чистого, без единого облачка, неожиданно погасили мысли о безысходности, которые только-только сжимали, надрывали сердце. Горечь беды таяла, уступая место надежде, хоть та и держалась неведомо на чем... Умирать в этот погожий день? Умирать весной? Умирать, когда до фронта рукой подать, в канун освобождения?

— Отходим! Отходить надо! — упрямо повторил Олег. — Чего мы тутждемся?

Гонта несогласно мотнул головой:

— Ну и отходи. Попробуй, если ты такой умный!..

Он чутьчку приподнялся, и тотчас слева и справа треснули две короткие автоматные очереди; пули ударили в камни, срикошетили с отвратительным визгом.

— Видал? — спросил Гонта с насмешкой. — А ты одно заладил — отходить. Отходить нам никак нельзя. Совсем другое делать надо: кротами в землю зарываться. Слышь, выковыривай-ка из-под себя камни, глубже наш окопчик станет. Тут, в этой каменной крепости, наше спасение.

— А потом что?.. Надо же как-то к лесу рвать!..

— Рвать, рвать, — передразнил Гонта. — Гляди, как бы килы не нарвать. Лежать будем.

Непонятное это спокойствие разозлило Олега, и он, словно обвиняя во всем случившемся только Гонту, запальчиво спросил:

— Ну что мы тут вылежим? Что?

— Будем лежать, будем считать. Видишь тех, четверых, на поле? Рвались, рвались — надорвались. Двоих ты шнокнул, а те, что поперек борозд, — мои!..

— Чего-то стихли, — поостыв, миролюбиво заметил Олег.

Вспышка гнева погасла, и он подумал, что разумнее всего положиться на опыт и мудрость Гонты.

— Стихли. Но почему? Может, что-то новое затевают против нас? — Гонта медленно покрутил головою, высматривая немцев через узкую щель меж камней, потом глухо проворчал: — А что-то же затевают!.. Может, минометик сгавят? Вот тогда нам действительно крышка!

Олег вывернул тяжелый плоский валун, оттолкнул его, сказал, чтоб успокоить и Гонту, и себя:

— Нет у них минометика. На лодке ж они переправлялись.

— Могут и на той стороне поставить. Но будем надеяться на лучшее. Так, сокіл?

Это весело произнесенное “сокіл” добило Олега вконец, ему стало стыдно, и он, казня себя за минутную горячность, с надеждой, бодро проговорил:

— Не из таких передряг выходили! Крепость у нас надежная. А там и помощь подоспеет. Лысюк, думаю, как переправится, как услышит стрельбу — обязательно к нам подскочит!

— Лысюк еще сто раз спасибо нам скажет. Думаю, за ним они и охотились — наперед забежать хотели. А напоролись на нас. Теперь ситуацию понимаешь?

— Отходить нам никак нельзя! — повторил Олег слова Гонты.

— О том и речь. Отсюда, из этой ямы, попробуй нас выкурить. Дудки! А там если не Лысюк, так хлопцы с Долгого поля придут на подмогу. На это и все надежды... А где конь? — вдруг спохватился Гонта. — Где наш конь?

— На клевер — вы же велели! — отвел. Туда, за березу...

— Это хорошо! Это хорошо!

Ничего хорошего в том, что непоеный конь пасся теперь в логу за лозьями, Олег не видел. Но то, что сказал Гонта перед этим, придавало сил. Долгое поле — неподалеку, и перестрелку, наверное, услышали. Стало быть, помощь придет. И главное — предупреждена группа Лысюка, которая должна возвращаться по дороге, что желтеет вон там, за вязами. И Гонта верно говорит: в этой яме они — как в добром окопчике, не подступиться к ним. И бруствер есть, надежный и удобный, — можно стрелять, особо не высываясь...

Эх, темную ночьку бы сейчас! Да запросто вырвались бы из этой западни. Но далеко ночка, тут пару часов хотя бы продержаться...

Лежать было неудобно, камни давили на ребра. Разворошив полусгнившие ветки и корни, спрессованные с листьями и землей, Олег вывернул два валуна, вытолкнул на бруствер. Саднило ладони, ободранные, когда полз бороздой. Он начал зализывать ранки, сплевывая кровь вперемешку с землею, и с ненавистью посмотрел на небо. Оно сделалось каким-то странным — поблекло, словно затянулось рассеянным дымом, и солнце потухло — будто давешнее заменили латунным. Лишь правее вязов, в стороне дороги, над самым лесом, небо оставалось прежним — ярким, чистым, густой синевы.

“Далеко, очень далеко еще до темна...” — с тоскою подумал Олег.

В лозьях послышались какие-то немецкие команды. Немного погода донесся высокий и четкий, но вроде исполощенный голос:

— Партизаны! Сдавайтесь! Вы окружены!

Гонта кивнул в сторону голоса:

— Слышал? — И негромко засмеялся: — Нету! Нету у них минометика! Был бы — ударили, не просили бы ручки хенде хох!

— Надо ответить: выиграем малость времени.

— Не очень-то выиграешь. У тебя сколько патронов?

— Четыре обоймы.

— А гранат?

— Две “эфки”.

— И у меня две. И запасной диск...

— Так это не совсем уж и плохо!

Гонта хмыкнул:

— Цельный арсенал! Что и говорить!

— Но и не пустые же руки. Есть чем драться!

— А ты думал. Они еще у нас покрутятся... Ты следи за полем, а я из лозняков их не выпущу. — Гонта перевернулся на живот, уперся ногами в Олегovy ноги. — Круговую будем держать... оборону!

Из кустов снова прозвучал тот же голос, высокий и будто испуганный, теперь еще резче, требовательнее:

— Вы окружены! Сдавайтесь!

— Я тебе сейчас сдамся, паразит поганый, предатель... — Гонта зло выругался. — Иди сюда — увидишь, гад, кто здесь окружен!..

Олег заметил, что на краю поля закопошились черные фигуры.

— Ползут! Они по бороздам ползут! Эти, что в лозьях, твякают, отвлекают, а они тем временем ползут!..

— Не подпускай, не подпускай близко! Бей их, гадов!.. — Гонта крутнулся, пустил длинную очередь по пашне, потом, перевернувшись на другой бок, прошил короткими очередями кустарник, откуда только что доносился высокий и испуганный голос. — Поддай им жару, братка, — торопливо бросил Гонта, выдергивая из брезентового чехла запасной диск. — Пока я новый поставлю...

Олег выстрелил. В конце поля, рядом с черной, сливающейся с пашней фигурой, брызнул фонтанчик земли. Промазал! Это что же ты, парень, разучился стрелять? Нет, плохо прицелился, поторопился, горячку начал пороть...

Он повторно прицелился, на сей раз старательно и спокойно, задержал на мгновение дыхание, нажал на спуск. Теперь уже черная фигура дернулась и замерла.

Олег обрадовался:

— А-а-а, невкусно? Невкусно? Полежи, пока не посинеешь!..

Но он опять начал торопиться и выпустил впустую целую обойму по немцам, что перебежали за деревьями. Не оборачиваясь, Гонта постучал сапогом по Олеговому ботинку:

— Береги патроны! Патроны, братка, береги. Стреляй только наверняка. Ага, видишь? Назад поползли!..

Стараясь не суетиться, Олег выстрелил еще несколько раз. Кажется, еще двое остались валяться на неровной горбатой пашне. Нет, лишь один...

Оттуда, из лозняков, бил пулемет. Разрывные пули сухо и резко вонзались в дички, а при рикошете всякий раз визжали на новый лад.

Неожиданно стрельба прекратилась. В тишине прозвучал знакомый фальцет:

— Сдавайтесь! Гарантируем жизнь!

Гонта повернул к Олегу красное лицо, испачканное в сером суглинке:

— Цел еще, гад. — И, выругавшись, крикнул: — Ты для себя, шкура, поищи гарантий! Шпарь до пана офицера, пока не поздно!.. Лови гарантию от нас!.. — Он поднял автомат над бруствером, дал три короткие очереди. От вызов ударил второй пулемет, и автомат вдруг вырвался из рук Гонты. — Ай-йй-йй!.. — запричитал он в отчаянье, подхватил автомат. — В диск, паразит, угодил! Скапугил мне автоматик!..

— Ставьте запасной диск! — сказал Олег.

— Это и был запасной... Э, да я патроны из него перекладу в пустой. — Гонта вытащил из автомата диск. — Ч-черт, его и не откроешь... Следи, следи за ними! — Покрутив диск в руках, цокнул языком, спросил: — Как же их выколупнуть, га?.. И чего, чего эту сволочь сюда погнало?

— Я ж говорю: на драники прибежали.

Гонта недобро зыркнул на Олега, потом уголки его губ изогнулись, лицо потемнело, и он зло сказал:

— Дулю им! С маком и таким! — И как-то вдруг голос его смягчился, пробилась в нем старательно припрятанная тоска: — Неужто кончились наши с тобою дранички?.. — И снова странно быстро изменились и голос, и лицо. Яростное упорство зазвучало в голосе, а глаза смотрели с улыбкой, словно все беды у человека были далеко позади. — Не-ет, не кончились! И мы с тобой еще драников из нашей бульбочки поедим! И люди добрые, копая ее, добрым словом помянут нашу работу...

— Как же! Будут они знать, кто бульбу тут посадил!

— А то нет! Доброе дело, братка, не забывается. А тут — всё всем известно. И Лысюк твой прекрасно знает, кто сюда, на это поле, поехал.

— Лучше бы он знал, что тут сейчас делается...

Гонта хмыкнул:

— Э, да ты никак на него еще обижаешься? — И вздохнул: — А, признаться, не по его милости ты здесь. Это ж я тебя сюда упек, у Лысюка выпросил.

Олег не поверил:

— Ка-ак? Как это?

— На прошлой неделе, в Зуях, с твоей матулей у меня разговор был. Просила-молила: побереги, мол, хлопца, не посылай в самое пекло... И я тогда — к Лысюку: отдай мне хлопца — на посевную...

Так внезапно открылся замысел старших, который был до сих пор Олегу неведом и который больно ударил по самолюбию. Вон, значит, отчего был так настойчив Лысюк! Это что же получается? Сговорились? Да, за его, Олеговой, спиною они сговорились! Его, значит, как неразумного пацана наду-

мали выпереть втихаря из разведки! Поберечь, не посылать туда, где опасно! Его, значит, за настоящего партизана не принимают?!

Знай он обо всем утром... Уж он бы сказал Лысюку пару ласковых! И как бы тот, интересно, оправдывался?..

А ему, Лысюку, наверное, и без твоих слов сегодня не очень-то сладко. Кто знает, чем все там, у того моста, обернулось?..

И еще интересно, что сказал Лысюк, когда Гонта пришел к нему с этой своей просьбой? Неужто согласился, не колеблясь?..

— Колебался не колебался — ну что ты как маленький! — добродушно заметил Гонта. — Что тебе лезет в голову всякая чепуха? Сейчас не о том время думать.

— Надо было честно сказать, не обманывать. А вы за моей спиной стогворились!

Гонта возмутился:

— Да перестань ты!.. Порешь разную чушь! Ведь знаешь, что командование приказало всем взводам выделить людей на посевную. Ну, не послали бы тебя — послали бы другого. Земля — или не соображаешь? — не должна пустовать! Засеял поле — значит, победил.

— А мы засеяли, — уронил Олег и почувствовал, что и говорить об этом ему приятно и что в мысли Гонты, которую тот повторил снова, таится какая-то надежда.

— То-то же, — одобрительно отозвался Гонта. — Свой бой, братка, мы уже выиграли. На войне пустых дел не бывает. И нас с тобой это поле будет помнить. А то, что хреновина случилась, — кто же мог предугадать? Удача, братка, неизвестно к кому и когда приходит...

Обида на Лысюка, что опять начинала было глотать сердце, отступила, показала пустой, никчемной, и Олег обругал себя: нашел, действительно, время выдрючиваться! Повод, скажи на милость, нашел обижаться на командира.

— Тишь какая-то непонятная, — тихим голосом промолвил Гонта.

— Может, драпанули?

— Притаились, выжидают. И мы подождем, нам спешить некуда. А полезут — встретим, мы люди гостеприимные. — Он подбросил на руке гранату, точно игрался с нею. — Ах, если бы пуля-дура в автомат не тюкнула! И не поправишь ведь никак. — Он отложил гранату, принялся острым камнем бить по погнутой крышке диска, пытаясь сорвать ее с места. Крышка вроде сперва поддавалась, потом села намертво. — Нет, капут диску. Если и откроешь — ничего не достать, патроны тоже, видать, заклинило...

В небе по-прежнему заливался жаворонок. Олег не сразу отыскал в выси, аккуратно там, над вязами, трепещущее пятнышко и, найдя, неотрывно следил за ним. Жаворонок, сдавалось, затем так упрямо и работает крыльшками, чтоб держаться все время на одном и том же месте, в центре голубого небесного лоскута, вокруг которого простиралась белесая хмури.

Песня жаворонка и утешала, и обостряла горечь. Фашисты боятся, они не отваживаются лезть сюда, к крушне: не очень-то просто перебежать-переползти это вспаханное поле — оборону Гонта и Олег заняли что надо. Лежать вот только не ахти как удобно: режут тело камни, немеют ноги, с головы до пят прокатывается неприятная дрожь от сырости и холода. Особенно достается коленям и груди. Надо повернуться. Сперва на одном боку полежать, потом на другом. Ну вот, вот так-то лучше. А Гонта все над диском ворожит. Угораздило же пуле попасть. Какая глупая случайность!..

— Хочу, Сверин, приказ тебе дать, — подал голос Гонта. — Боевой, так сказать, приказ...

— Давайте. Я слушаю.

— Доложишь командиру отряда... — отстраненно начал Гонта и кончил неожиданно строго: — Доложишь, что задание по посадке бульбы на Углинском поле хозяйственный взвод выполнил.

Олег подумал, что Гонта шутит.

— Дайте самолет — доложу.

— Борозду тебе даю, персональную. Вот эту. — Гонта раздвинул камни

и показал на глубокую борозду, что начиналась у крушни и вела к лугови-не. — По ней и поползешь. До сломанной березы. А там наш конь. Поска-чешь краем луговины к лесу. Еще доложишь, что тут стряслось и как. Ясно?

Ощущение того, что Гонта шутит, не оставляло, и Олег прежним то-ном сказал:

— Так ясно, что в глазах темно. Бороздою, значит, советуete проби-раться?

— Да, бороздою. А я приму огонь на себя. — Гонта кивнул в сторону вязов: — Внимание отвлеку...

Теперь до Олега дошло, что Гонта вовсе не шутит. Он нарочно отдает этот приказ, лишь бы отослать его подальше от опасности, спасти от гибели.

— Я — в лес, — со спокойной рассудительностью сказал Олег, прислу-шиваясь к своему голосу, словно не был до конца уверен, что говорит пра-вильно, — а вы?

— Глухой?! Я же сказал: внимание отвлеку. А-а, родненькая, подда-лась!.. — Гонта, сбив наконец с диска крышку, высыпал на ладонь патро-ны. — Ч-черт, они же все погнутые...

Патроны позвякивали в его руках, и Олег, глядя, как он перебирает их, ощущивает пальцами, спросил, словно упрекая за то, что Гонта не уберег ав-томат, осталась теперь без оружия:

— Внимание отвлечете... Это каким же образом?

— Карабин мне оставишь, он тебе без надобности. А потом — вот та-ким макаром... — Гонта сунул в рукав пиджака “эфку”. Рукав раздулся под самым локтем, и Гонта погладил этот пузырь ладонью. — Видишь? В руках понесешь — заметят, близко не подпустят. А тут... Взмахнул рукою — гра-натка и полетела. Чеку надо только загодя снять — гранатка тогда в рукаве на боевом...

Гонта, осторожно отогнув металлические усики, начал покручивать, вы-таскивать блестящее кольцо. У Олега было такое ощущение, что он сам, сво-ими руками, вытаскивает это маленькое, отполированное в кармане до бле-ска кольцо. Пересиливая неприятную дрожь, что прокатилась по спине, не узнавая собственного голоса, сказал:

— Но это верная смерть... если вот так, с гранатами...

Гонта спросил, не поднимая головы:

— А тут сидеть, по-твоему, мед?... — И с каким-то отчаяньем хмык-нул: — Хэ-эх! До смерти еще далеко... Только с умом надо... Ты поползешь, а они — понимаешь? — начнут по тебе стрелять. Притаись, сделай вид, что попали. Тут я вступлю — они по мне ударят, а ты тем временем снова пол-зи. Я буду бережно расходовать патроны, чтоб ты смог добраться до березы. А как доползешь, я подымусь. Они на меня зенки выплывают. Этот момент и используй: вскакивай и дуй что есть мочи...

— Лучше нам вместе пробиваться! — упрямо выдавил Олег, удивляясь своему сухому тону.

— Дурень! — перебил Гонта. И передразнил, скривив губы: — Вместе, вместе... Тогда нас обоих — вместе... А по одному — хоть какие-то шансы есть. Доползешь до березы — наше с тобою счастье. Ты глянь, не очень-то до нее и далеко...

Дерево росло в конце поля. В январскую блокаду, когда немцы обстре-ливали из пушек левый берег Двины, осколки посекали березу, макушка над-ломилась, но не упала, уперлась ветвями в землю, и теперь дерево росло, зе-ленело, как бы связанное на изломе. Чудные на нем листья — у комля гус-тые, зеленые, а на сбитой макушке маленькие, блеклые и редкие...

И верно, до березы рукою подать. Доползти до нее — значит, почти ока-заться в лесу. А в лесу — отряд, помощь... Это, пожалуй, единственный шанс на спасение. В карабине — целая обойма: Гонта прикроет, продержит-ся. Может, действительно рискнуть? Или переждать в этом надежном окоп-чике, понадеяться на случай?..

— Действуй! — сурово потребовал Гонта. И с той же суровостью доба-вил, потянувшись за карабином: — Давай его сюда, живо!

Олег отодвинул от себя карабин, и Гонта схватил его.

Ни тени страха во взгляде Гонты, ни растерянности: глаза серьезные, озбоченны, словно беспокоят человека какие-то важные, но буднично простые заботы.

— Что, не можешь отважиться? — спросил Гонта, в упор, не мигая глянув на Олега. — Надо, Олежа, ползти, надо!

Так ласково обращался к нему когда-то отец, и сейчас, услышав это “Олежа” из чужих уст, Олег встрепенулся. Ему показалось, что отец где-то рядом, за дичками, что оттуда донесся его повелительный голос.

— Ты доползешь... Я знаю, доползешь, — с оттенком какой-то вины проговорил Гонта. — Другого выхода у нас просто нет, только этот... И, если что, прости меня... — Спohватившись, что сказал не то, что следовало, добавил строже, подтолкнув Олега в плечо, вернее, не подтолкнув, а одобряюще, бережно дотронувшись: — Ну, Олежа, давай!..

После холодных камней окопчика земля в борозде показалась необычайно теплой и мягкой. Она не была такой, когда он торкал картошку. Выходит, нагрелась уже под солнцем. И как приятно пахнет она влажной дрсевой и прелью, и как хрупко рассыпается под пальцами. Но очень трудно ползти — нет упора для ног. И как вокруг поразительно тихо. Лишь оглушающе бьется сердце...

Его, наверно, еще не обнаружили — иначе уже стреляли бы, это точно. А может, ждут, покуда подползет поближе? А может, они ушли? К чему тогда изгибаться в три погибели, рыть носом землю?.. Ч-черт, да он просто мало прополз — крушня совсем еще рядом. Дядькина голова видна над бруствером. Нет, это камень, который он, Олег, выкатил из ямы. Надо было, пожалуй, отсиживаться там, под защитой бруствера, и ждать. Ждать подмоги! Ждать ночи!.. Но до ночи еще так далеко... А до березы что, близко? Как ты тут до нее доползешь... И луговина широкая, открытая, на ней его в два счета заметят. Этого Гонта, возможно, и не предвидел. Но затея его в общем-то верная — это единственный шанс на спасение. Единственный? И почему Гонта столь настойчиво отдавал его, этот шанс, лишь ему, Олегу?.. “И, если что, прости меня...” Что прощать? Что? Да он за это поле просил прощения! Ведь обещал и матери, и Лысюку увести тебя подальше от беды, а что сделал? Под пули привел... И ты, между прочим, за спасительную ниточку ухватился, а Гонту — бросил — бросил? Да, надо называть вещи своими именами — бросил, и не иначе. Только так, братка, только так. И Гонта отсюда теперь не выберется. Да, наверно, и не будет пытаться. Он остался, чтобы выбрался ты, чтобы ты один спасся!..

От вязов застучал пулемет. Разрывные пули лопались на гребнях пашни. И сразу от крушни звучно ударил карабин.

“Надо, Олежа, ползти!..”

Олег повторил вслух слова Гонты, будто убеждал себя в правомерности своего поступка. И вновь в нем отозвался голос отца. Знал: надо ползти. И не полз. Странная апатия овладела им. Силы были, он слышал их, но тело не подчинялось, и он не полз, считал выстрелы из карабина.

Второй патрон...

“Зачем он стреляет? Он же видит, что я не ползу!..”

Третий патрон!

“Зачем он стреляет? Он же видит, что я не могу ползти!..”

Четвертый патрон!..

“Что он делает? Что же он делает! Остался всего один патрон. Единственный... Ну вот, нет и его...”

Пятый выстрел из карабина показался Олегу особенно громким и резким. И осознание того, что у Гонты вышли все патроны, пронзило все его существо. Олег сжался, ему подумалось, что Гонта сделал этот последний выстрел не по врагу, он берег последнюю пулю для себя...

Мысль была жуткая, дикая, и раскаленным мячиком запрыгало под ребрами сердце. Олег перевернулся на бок. Нет, Гонта жив! Гонта что-то кричит, кричит что-то... Но отчего так смутно виден Гонта, словно пеленою застлало глаза?..

Олег помотал головой, поморгал, чтоб стрясти с век пыль. Но стало еще

хуже, глаза заслезившись. Пласт земли, в который он ткнулся лбом, сдавался непреодолимой скалой, и за ней, под кудрявой белой дичкой, согнутыми руками размахивал Гонта. Руки были как перебитые крылья.

— Ползи! — разобрал наконец Олег. — Ползи!.. — снова гаркнул Гонта.

Скорбно-повелительное, безвыходное “ползи!” прозвучало протяжно, и Олегу показалось, что ширится, все поднимается ввысь щемящая высокая нота, но растет не в нем, Олеге, а там, в душе у Гонты, что Гонта ранен и кричит от боли. И он приказал себе:

— Ползи к нему! Обрати!

Он знал, что ему надо ползти обратно, знал, что поползет, и чего-то выжидал, словно обдумывая принятое решение, словно взвешивая, не наделает ли он тут глупостей, и злясь на себя за то, что медлит.

Олег крчнулся в узкой борозде и пополз назад. Он полз, роя плечом мягкую, податливую землю, полз, обдирая о камни пальцы, полз, сжимая зубы от боли и отчаянья, боясь, что опоздает, не успеет, не застанет Гонту в живых, полз, оглушенный бешеным буханьем сердца.

От напряжения переняло дыхание, сухая горечь была во рту. Опять далекими и расплывчатыми стали дички, точно затянуло их сеткой алого дождя, и ему почудилось, что он ранен и кровь заливает лицо.

“Это пот на веках, — успокаивал он себя. — И пыль...”

Олег покрутил головой, утирая лицо о рукав пиджака, и алая заволочь исчезла, будто вдруг впиталась землею, и четкими стали и камни крушни, и гонкие метелки суданки, что подпирали, казалось, ветви дичек. И прояснились мысли, и среди всех прочих одна была необыкновенно ясной и утешительной — мысль о том, что поступает правильно, что принял единственно верное решение. Он не оставит Гонту одного, не оставит помирать на этом поле! Он будет с ним! Он будет рядом с ним до последней минуты!

Перевалившись через каменистый бруствер, Олег ощутил радостное облегчение, будто все невзгоды, трагедии остались там, позади, в той борозде, которую он пропахал дважды носом; холодный сырой окопчик представился надежным, уютным, и царил здесь благодостный покой.

— Хорошо тут! — счастливо улыбнулся он. — До чего же тут хорошо!

— Ты это что?! — недобро просипел Гонта и, скривившись, яро повторил: — Ты это что, белены объелся?!

Олег сжался. Ему казалось, что Гонта обрадуется, похвалит, и теперь, увидев злое дядькино лицо, понял всю неуместность своей радости, погасил ее, сказал безразлично:

— А ничего. — И добавил, полагая, что должен объяснить все сразу: — Не могу я удирать! Не хочу!

— Он не хочет! Ха-ха! — сипло хохотнул Гонта. — Какой был приказ? Какой был тебе приказ, я спрашиваю?

— Какой еще такой приказ? Я не мальчишка... Я все понимаю!

— Он — понимает! — И выверился еще больше: — Что ты понимаешь?! Что? Да я тебя под трибунал отдам!..

— Не надо кричать, — тихо, но твердо попросил Олег. — Я все равно останусь с вами. Здесь.

— Дурной! Да нас же здесь прикончат, тут — смертушка!..

— А я не боюсь. — И повторил слова самого же Гонты: — До нее еще далеко...

Гонта выматерился, но эта брань адресовалась уже не Олегу:

— Кранты, сдается! Заходят, гады, и от луговины...

— Прорвемся! С гранатами прорвемся!

— Заходят, гады, и от луговины, — повторил Гонта незнакомым, глухим голосом. — Я, дурень, кругом виноватый... — Он рванул на груди рубаху, простонал: — Дурень старый, олух безмозглый!.. Давно надо было тебя отправить — еще когда патроны были... — И внезапно умолк, поглядел на Олега долгим взглядом, словно впервые видел его, сказал грустно: — Так что будем делать, Олежка, га?

— Прорываться! Подползем как можно ближе — и закидаем гранатами.

— Ручками хенде хох надо делать. Теперь ползти глупо.

— Как? — оторопел Олег. — Сдаваться в плен?

— Я же тебе толкую: подойдем поближе и ручками — приветик, панове! Гранатки и покатились. Так и пойдем — с руками кверху.

В руке у Гонты чернела ребристая “эфка”, его пальцы привычно и ловко — будто он делал крестьянскую работу — отгибали тонкие, блестящие усики чеки, и Олег со странным волнением думал, что эту сценку он уже где-то видел. Но где? Да перед тем как тебе ползти, здесь, в этом окопчике. Гонта затолкал “эфку” в рукав и потом поглаживал вздувшийся пузырь, который был малозаметным под локтем... Ты же видел все это! Почему же тогда не подумал, что Гонта готовится идти на верную смерть?

Как же не подумал? Ведь Гонта сказал, что если идти вот так с гранатами — это смерть. Ты слышал, но тем не менее оставил окоп, пополз подалее от той беды, которая неминуемо ожидала тут... Но был приказ, и он выполнял его!.. А может, он чего-нибудь в задумке Гонты не понимает и сейчас?.. Нет, все верно. Две гранаты у Гонты, две у него. Значит, вдвое больше шансов на успех...

— Как пойдем? — спросил Олег и с удивлением заметил, что глаза у Гонты поблескивают, будто в них стоят слезы. — В сторону луговины?

— На лозняки.

— Почему?.. Хотя... Если удастся скатиться под горку — ищи тогда ветра в поле.

— О, если б скатиться. Тогда я, братка, кум королю... Рукава у тебя широкие?.. Самый аккурат. Погоди, сперва оружие припрячем...

Гонта начал заваливать камнями и летошней травой автомат, который лежал рядом с карабином, и Олег одной рукой стал помогать ему.

— Хватит, хватит, — сказал Гонта. — Теперь помоги мне опустить гранатки в рукава. — Он отогнул и сжал пальцами белые, местами побитые маленькими точками ржавчины, усики чеки, просунул указательный палец в кольцо. — Потом я тебе твои пристрою. Только, прошу, остороженько. Не спеши, главное, не спеши...

Металлическая планка была как живая, ее выталкивала пружина, и Олег помимо воли прижал ее к боку гранаты. Пальцы дрожали; казалось, что это не пальцы, не руки дрожат, а холодный ребристый корпус; в пазах меж ребер оседа желтая пыль, словно граната была некогда вымазана в глине, а потом небрежно очищена. Олег боялся разжать пальцы и крепко сжимал гранату, и ему казалось, что эта желтая пыль поднимается, курится, как после взрыва.

5

— Готов? — нетерпеливо спросил Гонта. — Ты готов?

Гонта пристально смотрел Олегу в лицо, и Олегу стало зябко, жутко стало от его пронзительно-внимательного и вместе с тем горестного взгляда, и он сказал, чувствуя, что больше не может выдержать взгляда этих живых, ласковых и как будто заплаканных глаз:

— Да, готов...

— Только ж ничего не перепутай, Олечка. Чуешь?

— Не перепутаю. Гранаты в немцев, а сами под горку, в кусты.

— Далеко не бросай. — Голос Гонты прозвучал наставительно. — На два шага от себя, не дальше...

— Одну бросаю вперед, вторую — вправо...

— Правильно. А я кидая одну за спину, другую — влево. И тогда вокруг нас получится огненное кольцо. — И смягчившись: — Форштейн?

— Форштейн, форштейн.

— И не волнуйся особо. Меньше на них, гадов, гляди. Идешь себе и идешь. И помни — мы с тобою еще поживем! Нас еще море ждет!

— И драники.

— Будут и драники, Олечка, все будет!.. Ты что? Ты что? — И уперся локтем ему в грудь. — Руки не опускай! Выскользнет из рукава — обратно не положишь!.. — И с отчаянной решимостью спросил: — Идем?

— Пошли.

— Ну, с богом! — и Гонта, подморгнув Олегу, трижды плонул через левое плечо, поднялся.

Олег переступил бруствер окопчика одновременно с Гонтой.

От резкого движения сперва в правом рукаве, а затем и в левом подались вниз гранаты, и Олегу на миг показалось, что они скользнут сейчас ему на шею, но тут же успокоил себя: никуда они не денутся, покуда он держит руки над головой. И какие они гадко холодные, эти гранаты! И тяжелые. Когда носишь на поясе, то привычно не замечаешь их веса. А тут прямо давят на руки. Неудобно идти, держа руки над головою, непривычно. Но как же иначе? Иначе никто их близко не подпустит, уложат одной очередью. А так ждут, стоят вон и ждут: идут партизаны, подняв вверх руки. Конечно, не часто доводилось видеть подобное, потому и тарашатся с недоверием... Только бы ничего прежде времени не почувяли. Да нет, не должны бы, еще далеко. Да и вблизи непросто приметить — пузыри на рукавах, не более. И какой же теплой стала граната в правом рукаве! А в левом — холодная. Наверное, оттого, что с каждым шагом поворачивается помалу. Только бы планками потом не зацепились! Нет, планки гладенькие, не зацепятся. Значит, из левого рукава — вперед, из правого — вправо. Здорово, однако, придумал Гонта. Карабин бы сюда, автоматик Гонты да патронов вдосталь...

Четвертый шаг...

Пятый шаг...

Олег слушал и считал не свои шаги, а Гонтины, который грузно топал обочь, слышал, как порою шуршат под каблуками камешки, и глядел себе под ноги, на широкие пласты пашни, гребни которых уже подсохли и пожелтели. Как быстро подсохло поле! Часа два прошло — не более! — а признаков влаги нет и в помине. Правду говорил Гонта: перестояло поле, садить картошку надо было бы пораньше.

Седьмой шаг...

“И жаворонок как-то странно звенит, будто падает с выси на землю...”

Восьмой шаг...

“Вот и второй отозвался. Где-то позади поет, но глуше, словно заблудился в траве...”

“Неужели только девять шагов сделал Гонта? Или, может, я сбился со счета?... Нет, я правильно считал. Десятый шаг...”

Он понимал, что делает все это через силу — и считает Гонтины шаги, и глядит себе под ноги, и удивляется тому, что так скоро подсохла земля, и уже осыпаются гребешки борозд, и прислушивается к трелям жаворонков, — то есть изо всей мочи старается успокоиться, старается не смотреть вперед, на широкий обмежек у кустарника, где открыто, не прячась, стоят в ожидании ээсовцев. Сколько же их там собралось? А зачем тебе это? Нет, друже, поглядеть все же придется, хоть и не хочется. Не хочется или боязно?... Ведь тебе придется приблизиться к ним вплотную. Гонта говорил, чтоб бросал на два шага, всего на два шага... А почему именно на два? Да чтоб не успели унести враги ноги, не успели спрятаться! Но ведь и ты не отбежишь! И Гонта! Нет, надо успеть прыгнуть под откос! И Гонте надо. Только надо все выверить, все точно определить: когда, в какое место, где...

Олег поднял голову и посмотрел вперед. Как мало осталось уже до ээсовцев! Вот так же близко были они на гравийке под Фаринином — тогда разведчики полоснули по ним из автоматов почти в упор, а он, Олег, отправил к праотцам офицера, который успел залечь на обочине за сосной. Тогда было много ээсовцев, не то что сейчас... Совсем же немного стоит их у лозняков — всего лишь пятеро... Нет, еще четверо маячат у вязов да сзади, на луговине, перелаиваются...

А ветер тербит ветви лозы... За кустарниками горбится белое облако, лохматое, ровно слепленное из комьев пышного снега. Странно, из окопчика он видел такое же облако за вязами, над лесом. Неужели оно так скоро переплыло реку?..

Внезапно перестал шаркать своими сапогами Гонта. Чего он замешкался, зачем остановился? Сам же толковал: надо идти вперед, только на сбли-

жение... А может, уже пробил час? Нет, еще далековато — пока бросишь гранату, пока она долетит — разбегутся фашисты, укрыться успеют...

Он снова поднял голову и снова увидел черные фигуры врагов.

Но теперь его взгляд не задержался на них — он видел гибкие, с желтоватым отливом и серебром лозняки, которые стлались под ветром. До чего же они близки! Как густы их спасительные дебри! Один миг — и ты там... Но где тот миг — надо пройти сначала до конца борозды, ступить на обмезек, руки резко опустить... А Гонта остановился. Чего он возится?! Надо идти и идти! Надо идти, пока они не опомнились, пока слепы от своей удачи...

А Гонта остановился... Зачем? Господи, да он сдурел — носком сапога присыпает картофелину! На черта ему сдалась та картофелина?!

— Брачок в работе. Ликвидировать положено. У нас в бригаде был закон: орехов не оставлять. Не будем и мы портачить. Верно? — И деловито подгреб глинистой земли, начал засыпать картофелину, которую миновал плуг; сухой гребешок земляного пласта крошился и осыпался в борозду. — Вот теперь порядок, теперь нашей картошке будет тепло, удобно будет лежать в земельке. И прорастет, и уродит...

От лозняков прозвучало — требовательно, с издевкой, по-немецки:

— Ком, бандитен, ком! Шнель, шнель!

Гонта, не прекращая своей работы, процедил сквозь зубы:

— Зашнелил, сволочь! Потерпишь, никуда не денешься! — И тут же порадовался, сказал так, будто ничто другое, кроме этого занятия, его уже не касалось: — Поле какое славное! Борозды ровненькие, как под шнурок. Не разучился еще Гонта работать. Верно же?

Эта взволнованность, какая-то торжественная потусторонность потрясли Олега. Да он ошалел, этот Гонта! Картошку присыпает, красотой пашни восторгается. Тут надо думать, как выкарабкаться из беды, а он...

— Не разучился, — удовлетворенно проговорил Гонта и, спохватившись, что нахваливает лишь самого себя, поправился: — И ты не разучился, не горюй.

— Уродит, — согласился Олег. Он произнес это так, будто хотел, чтоб Гонта отцепился, будто все восторги того не заслуживают и ломаного гроша и вообще неуместны, и дважды повторил, не скрывая недовольства: — Уродит, уродит... Только успевай выбирать!

Но Гонта не обратил внимания на Олегов тон.

— А небо какое, Олечка, ты посмотри! — проговорил он растроганно. — Словно подсинили его. И эти облака за речкой! Сдается, никогда раньше и не видел ничего подобного. В самом деле!

Кроткий голос Гонты еще больше возмутил Олега. Картоху какую-то заметил, земелькою присыпал. Теперь небом любитесь! Словно никаких тебе забот, никаких тревог! Будто не ждет их беда, которую не обминуть. А эта беда все ближе и ближе, с каждым шагом все ближе. А Гонта точно ничего не видит, ни рожна не понимает! И какое у него странное лицо — благодушное, ничем не озабоченное...

— Какое небо, браточка! — гнул свое Гонта. — Ах, красота какая! Будто впервые в жизни вижу это чудо!.. Ты погляди!..

Что он несет, этот Гонта?! Снова про свое небо долдонит! Как выкрутиться из беды — вот о чем надо думать. А он...

Но ведь и ты сегодня любовался тем же самым небом. Не выказывал, правда, своих восторгов, не охал и не ахал. И ты поражался, ты думал, что за всю войну ни разу не видел такой синевы над головою.

“Я смотрел на небо, чтобы вытеснить мысли о беде. И Гонта делает то же самое...”

Только сейчас ему открылся смысл всего, что делал и что говорил Гонта. Дядька так же, как и он, понимает неизбежность того, что их ждет. И не только понимает, но и пытается оттянуть тот миг, когда придется смотреть смерти в глаза, когда надо будет опускать пока поднятые вверх руки...

Олег посмотрел себе под ноги, посмотрел вперед, на то место, куда предположительно полетят гранаты. Там был зеленый обмезек, а под ногами серел вывернутый плугом суглинок, весь в прожилках подрезанных корней.

“Беда переплелась с нами, как эти корни между собой...”

Неожиданное сравнение на какие-то секунды завладело вниманием Олега, и он глядел под ноги, на густое сплетенье корней осота и пырея; как веревки, скрученные, перевязанные, они торчали из земли, свисали в борозды. У осота корни белые, веретенообразные, с тонкими волосинками, а у пырея — длинные, извилистые, смахивающие на небрежно выровненную проволоку, и с желтизной... И какие глубокие, сетчатые следы оставляет на пашне Гонты... Нет, это его самого следы — давешние, когда шел за плугом.

У Гонты сапоги трофейные. Немецкие...

“Он взял их у врага. Теперь сапоги к врагу вернуться...”

Мысль была неуместная. Но суть, которая заключалась в ней, вдруг предстала перед Олегом обнаженной действительностью и была как свежее ободранная липка. Все маленькие хитрости, все наивные надежды на некий счастливый исход — все стало ненужным, все улетучилось, оставив его наедине с жестокой и неумолимой реальностью того, что происходит и что еще произойдет на этом поле.

“Убьют... И одного убьют, и другого...”

Он принял это как неожиданный и странный вывод, который не требовал, однако, доказательств, не требовал объяснений. Его даже не удивила абстрактность в рассуждениях, которую он допустил и на которой построил этот свой вывод; но он считал, что в определенной мере беда не коснется его лично, не коснется Гонты, что она направлена против некоего “одного” и некоего “другого”, к которым они с Гонтой никакого отношения не имеют. Но опять же — считал он так лишь какие-то мгновенья, потому что вслед за этой мыслью родилась новая, в которой уже не было никакой абстрактности и которая перечеркивала все безжалостно и окончательно.

“Завтра мы не увидим с Гонтой этого неба, этого поля, этих лозняков... Но почему завтра, когда сегодня ты не увидишь ни неба, ни поля, ни лозняков... Ни ты, ни Гонта...”

Олег знал теперь наверное, что должно случиться, и мысль о смерти не испугала, не породила отчаянья, а вызвала новый прилив ярости. Почему его и Гонту должны убить вот эти чужаки в черном одеянии? Почему его жизнь и жизнь Гонты должна оборваться здесь, оборваться сейчас, оборваться так внезапно и по-дурацки? Но нет, по-дурацки они не погибнут. Вряд ли уцелеет и кто-нибудь из тех, кто стоит сейчас на обмежке. А это значит, что добрый десяток фашистов перестанут стрелять в наших людей! Он и Гонта не задарма отдадут свои жизни. Они выполняют свой долг, они клялись, что если уж и доведется умирать в бою, то встретят смерть достойно, отдадут жизнь как можно дороже, отдадут во имя Победы. Что он, Олег, и делает, что делает и Гонта. Добрый десяток гадов найдут себе могилу на обмежке и уже никогда не возьмут в кровавые руки оружия. И потому пусть на какую-то малость, но все равно раньше придет сюда Победа. И кто-то должен во имя ее умирать!..

“Пусть умирает враг!..”

Мысль эта, обостренная до боли, выкристаллизовалась изо всех других, и Олега удивила не ее четкость, а то, что он почему-то до сих пор не понимал, что с самого начала боя она стояла на первом месте, что он подчинял ей каждое мгновение, подчинял даже тогда, когда, выполняя приказ Гонты, выскользнул из окопчика и пополз по борозде. Но теперь она, эта мысль, с удивительной определенностью и питала лютую ненависть к врагу, и не позволяла уйти осознанию непоправимости беды, осознанию, какое, казалось, он похоронил и какое, как эхо в роще, сейчас снова вернулось к нему.

“Ты больше не увидишь этого поля...”

Неприятные, холодные тиски сдавили горло, по коже прокатилась зыбкая волна, а судорога свела ноги под коленями. Но тут же отпустила, и он легко ступил вперед.

Он опять считал не свои собственные шаги, а шаги Гонты, и этот подсчет не убивал, а порождал трезвое отношение к неминуемому. Сейчас, когда беспорядочный бег мыслей унялся, решение, принятое Гонтой, воспринималось как единственно верное и разумное.

Снова явилась прежняя мысль, она успокаивала, как бы перечеркивала беду, и он с удовольствием понимал: они с Гонтой уже выше беды, они для нее недостижимы в том смысле, что никому теперь не суждено изменить то, что они оставляют после себя, — с душою обработанное поле. Будут идти дожди, и будет светить солнце, будут наплывать синие туманы от реки, и будут петь жаворонки, и поле будет зеленеть, и вознаградит людей добром... И пускай ээсовцы, подгоняя их, кричат на обмелке, пускай трясут автоматами — пускай! Они с Гонтой будут идти так же, как шли и вначале: неторопливо, уверенно и спокойно. Только бы не изводила гадкая дрожь, что перекатывается по телу...

“Ты должен глядеть на что-то одно. Ты должен выбрать цель...”

Олег остановил свой взгляд на ээсовце, который стоял у самого края обмелка, рядом с кучкой черной земли, вывернутой на траву плутом. Обмелек странно колыхается, будто резиновый... Нет, обмелек неподвижен, это ээсовец покачивается с носка на пятку, с пятки на носок...

“Надо сделать еще пять шагов... Пять шагов и — тогда!..”

Он определил это и начал считать шаги по-новому. Он считал свои шаги, но вроде кто-то еще, не он сам, подсчитывал и шаги Гонты, и этот подсчет не мешал ему, велся синхронно.

“Четырнадцатый шаг Гонты и мой первый шаг...”

И вдруг Гонта спутал все карты — толкнув Олега плечом, он закричал с отчаянной радостью:

— Кида-а-ай!

Крик Гонты взвился высоко, ударил в сердце и будто тяжелым обручем пал на голову, сжал виски. Олег махнул левой рукой, словно показывая кому-то дорогу вперед, а правой махнул в сторону, словно нечто отбрасывая от себя. Куда полетела первая граната, он не увидел, но хорошо разглядел, как вторая, подпрыгнув на земле, скрылась в траве у ног ээсовца.

Сухо щелкнули запалы гранат, и Олегу показалось, что это треснуло что-то в горле Гонты — голос того оборвался...

“Теперь надо под откос!”

Он метнулся к лознякам, ощущая желанную легкость в руках, которые не надо было больше держать над головою, и опали обручи, стали живыми ладони.

“Но где Гонта? Гонта где?”

Олег обернулся, увидел Гонту, который падал на кусты, раскинув руки, как крылья. И в тот же миг перевернулось поле, рядом с лозняками пошли стоймя борозды, они взлетели ввысь над вязами и обрушились на Олега. Черные борозды, показалось ему, были еще далеко, когда от них багрово полыхнуло, забило рот жаром. Он не почувствовал боли, почувствовал только горячую мягкую эту волну, и ему почудилось, что и он, и Гонта подхвачены той волной, что и он падает на кусты, а ветер от реки ласкает и овеивает его лицо. Олег не видел, как четыре взрыва смели ээсовцев с обмелка, не видел, как катится в спасительные заросли Гонта, не видел и не понимал, что никуда он не летит, что он умирает не от осколков, а от разрывных пулеметных пуль, которые прошли ему грудь наискось и которые прилетели от вязов, что гнулись под ветром на краю вспаханного поля, черного и сверкающего под солнцем.

Перевод с белорусского В. Кудинова